

ОН ЗАКОН.
ОН НЕ ПРОЩАЕТ.
ОН ПРИСВАИВАЕТ.

Она - его
приговор
и его искушение

ПРОКУРОР

Его добыча

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

УЛЬЯНА СОБОЛЕВА

18+

Ульяна Соболева

Прокурор. Его добыча

<https://litres.ru/74219059>

SelfPub; 2026

Аннотация

НОВИНКА! ОДНОТОМНИК! Он посадил её брата. Подписал — двенадцать лет строгого — и забыл имя до следующего утра.

Потом она пришла. Семь раз. Без записи, без денег, без единого козыря. Садилась в кресле напротив его двери и ждала. Как будто терпение могло что-то изменить. Как будто у неё был выбор.

Он вышел. Посмотрел. И сказал то, что говорил всегда, когда хотел что-то взять:

— Приезжайте завтра. Не в кабинет. Домой. Обсудим условия.

Никаких объяснений. Никакого «пожалуйста». Потому что Ковач не просит — он ставит перед фактом.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	18
Глава 3	28
Глава 4	35
Глава 5	42
Глава 6	48
Глава 7	54
Глава 8	60
Глава 9	66
Глава 10	72
Глава 11	78
Глава 12	88
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Ульяна Соболева

Прокурор. Его добыча

Глава 1

«Есть такой сорт тишины, который не лечит, а вскрывает. Как скальпель, проведенный по старому шву - аккуратно, без крови, но так, что внутренности вываливаются на казенный линолеум, и ты стоишь, смотришь на них, и думаешь: надо же, я все еще живая».

Тюрьма пахла хлоркой и чужим горем.

Я знала этот запах так хорошо, что он перестал вызывать тошноту - просто лег на дно легких и остался там, как осадок на дне чашки, из которой слишком долго пили дешевый чай. Каждый второй вторник - один и тот же маршрут: автобус сорок седьмой до конечной, потом двадцать минут пешком вдоль бетонного забора, на котором кто-то криво нацарапал «Бог видит», а чуть ниже, другим почерком - «а людям похуй». И каждый раз я читала обе надписи, и каждый раз не могла решить, какая из них правдивее.

Декабрь выдался такой, что небо будто легло на крыши - серое, распухшее, беременное снегом, который так и не шел. Просто висело, давило, вминало город в землю своей свинцовой тяжестью, и казалось, что вдохнуть полной грудью фи-

зически невозможно, потому что воздух стал плотным, как вата, пропитанная формалином. Я шла по обочине в ботинках, у которых левая подошва отклеивалась с внутренней стороны - не до конца, ровно настолько, чтобы в щель набивался мокрый снег и таял между пальцами, и к тюремным воротам я добиралась с одной ледяной ногой, будто ходила по стеклу.

Очередь на досмотр. Всегда одни и те же лица, и всегда я старалась на них не смотреть, потому что они были зеркалом - уставшие женщины с пакетами, с таким же пустым, стеклянным терпением во взгляде, с такими же залатанными зимними куртками и покрасневшими руками. Мы не разговаривали. Не здоровались. Просто стояли рядом, как надгробия на кладбище - каждая над своей могилой, каждая молча, каждая зная, что слова ничего не исправят, а сочувствие здесь - монета без номинала: звенит красиво, а купить на нее нечего.

Охранник проверил паспорт, провел металлоискателем вдоль тела, задержавшись на секунду дольше на бедрах - не потому что искал что-то, а потому что мог. Его рука в перчатке прошла так близко к моему телу, что я чувствовала тепло чужих пальцев через ткань пальто, и от этого тепла - грязного, нежеланного, властного - кожа покрылась мурашками, не от холода, а от отвращения, того липкого, затхлого отвращения, которое селится под кожей и живет там неделями, как синяк, как метка, как напоминание: твое тело - не

твое, когда ты здесь. Твое тело - территория, на которую заходит каждый, у кого есть форма и металлоискатель. Я не дернулась. Раньше дергалась, раньше сжимала челюсть так, что потом полдня ныли зубы. Теперь - нет. Теперь я просто смотрела мимо, как смотрят на дождь за окном, когда он идет уже третью неделю и перестает быть событием.

Комната свиданий. Стекло. По ту сторону - стул, привинченный к полу. По эту - мой.

Я села и стала ждать.

Минуты в тюрьме - другого веса. Не те легкие, незаметные минуты, которые рассыпаются, как песок между пальцами, когда ты занят чем-то живым. Здесь каждая минута - чугуновая отливка, и ты чувствуешь, как они укладываются одна на другую, давят на ребра, и грудная клетка сжимается, и сердце начинает биться чаще, не от страха - от тяжести, физической, осязаемой, как будто кто-то положил мне на грудь бетонную плиту и сказал: «Дыши. Если сможешь».

Дверь по ту сторону стекла открылась.

И я перестала дышать.

Тимур.

Мой Тимур.

Мой мальчик, мой единственный, мой - вошел, и мир за его спиной схлопнулся, потому что все, что я видела, был он. Только он. И то, что с ним сделали.

Он похудел. Не так, как худеют от диеты или от спорта - нездорово, хищно, как будто тело начало пожирать себя из-

нутри, обгладывая скулы, заостря подбородок, проступая ребрами сквозь тюремную робу. Скулы - острые, как лезвия, обтянутые кожей цвета несвежей бумаги. А под левым глазом - синяк. Не свежий, уже пожелтевший по краям, с лиловой сердцевинкой, похожий на цветок, который распустился не там, где должен, - уродливый, ядовитый, кричащий.

Он сел. Поднял трубку. Улыбнулся.

И от этой улыбки меня скрутило так, что я вцепилась ногтями в край стола, потому что улыбка была мамина - широкая, теплая, «все-хорошо-не-волнуйся» - и она была ложью, такой же, как мамина улыбка в последние месяцы, когда она уже знала, что умирает, но смотрела на нас с Тимуром и улыбалась так, словно завтра мы поедем на море.

— Привет, Вер.

Голос. Господи, его голос. Хриплый, надломленный, как ветка, которую согнули, но не до конца - она еще держится, еще не хрустнула, но слышно, как трещат волокна, и ты стоишь и ждешь, и каждая секунда - это секунда до хруста.

— Привет, - я подняла трубку. Пальцы дрожали. Я сжала пластик так, что побелели костяшки, и молилась только об одном - чтобы он не заметил. - Как ты?

— Нормально.

Нормально. Он всегда говорил «нормально». Когда мать лежала в больнице - «нормально». Когда отец ушел, забрав из дома все, включая мамино серебряное зеркальце, которое она берегла, как святыню, - «нормально, Вер, забей, не

парься». Когда его взяли - «нормально, сеструх, вывезу». Это слово было его щитом, его броней, его проклятием, потому что за ним он прятал все: и боль, и страх, и крик, который я слышала в его глазах, хоть он и не издал ни звука.

— Тим. Синяк.

Он коснулся пальцами глаза - небрежно, как будто смахивал мошку.

— Полка. Верхняя. Повернулся неудачно ночью.

Ложь. Такая прозрачная, что сквозь нее было видно все: и кулак, который прилетел в эту скулу, и чужие руки, и казенную темноту камеры, и его скрученное на полу тело - моего мальчика, которого я учила читать, которому завязывала шнурки, которого кормила макаронами с кетчупом, потому что больше ничего не было, - моего Тимура, которому девятнадцать, и он сидит за решеткой, и его бьют, и он говорит мне «полка».

— Ты похудел, - сказала я, и горло перехватило, будто кто-то затянул на шее невидимую удавку, и слова выходили рваные, обрубленные, как куски мяса из-под тупого ножа.

— Фигня. Жрать тут дают нормально.

— Нормально, - повторила я. И мне захотелось разбить это стекло. Вдребезги. Голыми руками, до крови, до костей, до белых осколков, застрявших в ладонях, - только бы дотянуться, только бы обнять, только бы прижать его голову к своей груди и сказать: «Я заберу тебя отсюда. Я клянусь. Я заберу тебя отсюда, даже если мне придется разгрызть эти

стены зубами».

Но я не разбила стекло. Я сидела и держала трубку, и мой мир умещался в прямоугольник мутного плексигласа, за которым мой брат умирал по кусочкам, а я не могла сделать ничего - ни-че-го, - кроме как приходить раз в две недели и смотреть, как его становится все меньше.

— Вера. Слушай. Не надо ничего делать, ладно?

Я подняла глаза.

Он смотрел на меня - и в этом взгляде не было маминой улыбки, в нем была паника, настоящая, голая, как оголенный нерв, как провод под напряжением, и я чувствовала, как этот ток проходит сквозь стекло, сквозь трубку, сквозь мою руку - прямо в сердце.

— Не ходи никуда. Не пиши заявления. Не лезь к этим людям. Я серьезно, Вер. Мне осталось... ну, много. Но я вывезу. А ты - живи. Работай. Не лезь.

— Двенадцать лет, Тим.

Мое горло свело судорогой. Двенадцать лет. Мне двадцать два - когда он выйдет, мне будет тридцать четыре. Тридцать четыре. Целая жизнь. Целая жизнь, в которой мой брат будет гнить за бетонными стенами за то, чего он не делал, - или делал, но не так, как написали в приговоре, не в том объеме, не с тем умыслом, потому что Тимур - дурак, безбашенный, доверчивый мальчишка, который пошел за компанией, как щенок за стаей, и стая бросила его, когда пришли волки с погонами.

— Двенадцать лет, Тим, - повторила я, и голос треснул, и трещина прошла через каждый слог, через каждую букву, через все мое тело - от горла до ребер, от ребер до живота, и я согнулась на стуле, будто меня ударили под дых, потому что двенадцать лет - это не число, это приговор, и не ему - мне.

— Вер, не надо...

— Не говори мне «не надо». - Я выпрямилась. Зубы сжаты. Глаза сухие. Я не плачу. Не здесь. Не при нем. Не при ка-мерах, не при охранниках, не при этих стенах, которые видели столько слез, что от них должна была облупиться краска. - Не говори мне «живи». Какая жизнь, Тим? Какая, к чертям собачьим, жизнь?

Он молчал.

Я молчала.

Между нами было стекло и двенадцать лет.

— Адвокат отказался, - сказала я наконец, тихо, устало, как говорят о вещах, которые больше не ранят, потому что ранить уже нечего - все выжжено, все обуглено, только пепел и кости. - Денег нет. Но я нашла... другой путь.

Его глаза сузились. Паника вернулась - мгновенно, как щелчок затвора.

— Какой путь?

— Прокурор. Ковач. Он курировал твоё дело. Он может инициировать пересмотр.

— Вера, нет.

— Вера, да.

— Ты не понимаешь, с кем...

— Я понимаю. Я очень хорошо понимаю. Я понимаю, что у меня нет денег на адвоката, нет связей, нет никого - кроме тебя, за этим стеклом, с чужим кулаком на лице. И я понимаю, что если я не сделаю ничего - ты сгниешь здесь. И я сгнию снаружи. Потому что разницы, Тим, больше нет.

Он прижал ладонь к стеклу.

Я прижала свою.

Его рука была больше. Взрослая, мужская рука - когда он успел вырасти? Когда этот мальчик, который плакал, когда упал с велосипеда, когда боялся грозы и залезал ко мне под одеяло, когда просил почитать ему вслух, потому что «у тебя голос красивый, Вер, как у мамы», - когда он стал этим худым мужчиной с желтым синяком и глазами, в которых надежда выгорела, как лампочка в подъезде: еще светит, но еле-еле, и ты знаешь, что со дня на день погаснет?

— Не ходи к Ковачу, - сказал он. Тихо. Как просят о чем-то последнем. - Пожалуйста.

«Пожалуйста». Тимур никогда не говорил «пожалуйста». Это слово в его устах звучало как белый флаг, как последний выдох, как скрежет ногтей по краю обрыва, когда пальцы уже соскальзывают.

— Я люблю тебя, - сказала я. И положила трубку.

Не потому что не хотела слушать. Потому что если бы я услышала еще одно слово - одно-единственное, - я бы развалилась, прямо здесь, прямо сейчас, на этом стуле, в этой ком-

нате, пахнувшей хлоркой и проигранными жизнями, - развалилась бы, как карточный домик, как пустая коробка, как все, что не держится ничем, кроме силы воли, а сила воли - не бесконечна, и моя дошла до края, и за краем - пропасть, и если я в нее упаду, то вытащить Тимура будет уже некому.

Я вышла из тюрьмы.

Декабрьский воздух ударил в лицо - холодный, влажный, пахнувший выхлопами и гниющей листвой, которую не убрали с осени. Я остановилась у ворот, прислонилась спиной к бетонному столбу и сделала то, чего не делала полгода: позволила себе закрыть глаза.

Темнота.

В темноте - Тимур. Тот, прежний. Четырнадцать лет, наушники на шее, вечно развязанные шнурки, улыбка - его, не мамина, собственная, мальчишеская, с щербинкой на переднем зубе, с ямочкой на левой щеке, с этим его «Вер, а давай макарохи?», - и я варила, и он ел, и мы сидели на кухне в нашей однушке, и потолок протекал, и батареи еле грели, но мне было плевать, мне было тепло, потому что он был рядом, живой, целый, мой.

Теперь он - там. А я - здесь. И между нами - стекло, бетон, колючая проволока и двенадцать лет, которые кто-то нарисовал на бумаге, как приговор, - и подпись под этим приговором стоила меньше, чем чернила, которыми ее вывели.

Я открыла глаза.

Достала телефон. Экран треснут - паутина через весь

дисплей, старый, дешевый, с разбитым стеклом и облезшим чехлом, в котором болталась мелочь. Набрала в поисковике: «Прокурор Ковач приемные часы».

Результаты загрузились медленно - интернет дешевый, пакетный, четыреста мегабайт на месяц, из которых половина уходила на переписку с тюремной канцелярией. Страница прокуратуры. Фотография. Я увеличила.

И пальцы замерли.

Мужчина. Не чиновник с обрюзгшим лицом и масляными глазками, которых я навидалась в коридорах судов и канцелярий, - мужчина, от одного вида которого что-то внутри меня сжалось, коротко и остро, как сжимается мышца от неожиданного прикосновения. Серые глаза - холодные, светлые, прозрачные, как лед на зимней реке, тот лед, под которым видно течение, и ты знаешь, что провалишься, если ступишь, но все равно смотришь, потому что красиво, потому что затягивает, потому что невозможно отвернуться. Темные волосы с сединой на висках - ранней, не старческой, а той, которая бывает у мужчин, проживших вдвое больше своих лет, - серебро на темном, как иней на черных ветках. Скулы - резкие, точеные, с тенями в углублениях, которые делали лицо одновременно красивым и опасным, как бывает красив и опасен нож с хорошей заточкой. Костюм стоил больше, чем моя зарплата за год, - но не костюм держал взгляд. Держали - руки. На фотографии он подписывал что-то, и его правая кисть была в кадре: длинные пальцы, сжи-

мающие перо, с такой спокойной властностью, будто перо - продолжение тела, будто между его волей и чернилами на бумаге не было зазора, ни миллиметра сопротивления, ни тени сомнения.

Я смотрела на эти пальцы - и во рту пересохло. Не от страха - от чего-то другого, незнакомого, неуместного, непристойного в своей неуместности, потому что я стояла у тюремных ворот, с мокрой ногой и сумкой, в которой лежали последние две тысячи рублей, и мой брат гнил за стеной, и мир был пеплом и бетоном, - а я смотрела на фотографию чужого мужчины и чувствовала, как кровь приливает к щекам, к шее, к тому месту за ключицами, где кожа тоньше всего, и горит, и пульсирует, и я не могла это остановить, как не могут остановить пожар, заливая его бензином.

Марк Давидович Ковач. Прокурор города. Сорок лет. Серые глаза. Руки, которые подписывают приговоры.

Руки, от одного вида которых - на треснутом экране дешевого телефона, в зернистом качестве прокурорского сайта, - у меня поехала крыша.

Я ткнула ногтем в экран, закрывая фотографию. Быстро, зло, как захлопывают дверь, за которой увидела то, чего видеть не хотела. Записала номер приемной на запястье - ручкой, единственным способом, потому что блокнота не было, и чернила на коже были холодными и мокрыми, и цифры расплывались от пота, и я смотрела на эти расплывающиеся цифры и думала: это телефон человека, который решает,

жить моему брату или гнить. Это - не мужчина. Это - инструмент. Функция. Средство. И тело мое - с его идиотскими приливами крови и горящими скулами - может заткнуться и не мешать.

Я пошла к автобусной остановке - на левой ноге мокрый ботинок хлюпал с каждым шагом, и в этом звуке было что-то окончательное, как метроном, отсчитывающий последние такты перед тем, как музыка закончится и начнется тишина.

Только тишины я больше не боялась.

Я боялась только одного: не успеть.

И еще - совсем тихо, на самом дне, там, куда я запрещала себе заглядывать, - я боялась серых глаз на экране. Не потому что они были холодными. А потому что от них было жарко.

Через три дня я впервые пришла в приемную прокуратуры. Меня не приняли.

Через пять дней - снова. Снова не приняли.

На седьмой день я пришла к семи утра и села в кресло напротив двери его кабинета. Секретарша смотрела на меня так, как смотрят на пятно, которое не оттирается, - с раздражением и тихим удивлением, что оно все еще здесь.

Я была здесь. Я была пятном, которое не оттирается.

В четырнадцать тридцать дверь кабинета открылась.

И я узнала его сразу - по фотографии, по серым глазам, по костюму, по той спокойной, выверенной уверенности, с которой двигаются люди, привыкшие, что мир расступает-

ся перед ними, как море перед кем-то библейским. Но фотография лгала. Она не передавала главного - воздуха, который менялся вокруг него, уплотнялся, нагревался, становился вязким и тяжелым, как перед грозой, и от одного его присутствия в коридоре мне стало тесно в собственной коже, будто кожа стала на размер меньше, и каждый шов натянулся, и каждый нерв зазвенел.

Он посмотрел на меня.

Я посмотрела на него.

И в ту секунду - в ту единственную, крошечную, ничего не значащую секунду - что-то сместилось. Не в мире. Во мне. Глубоко, на уровне ребер, на уровне крови, там, где живет то, что не подчиняется разуму и не слушает приказов. Что-то увидело его - и потянулось. Как растение тянется к свету. Слепо. Неостановимо. Безрассудно.

— Вы та девушка, которая ходит сюда третий раз? - спросил он. И его голос - низкий, с хрипотцой, с той бархатной тяжестью, которая бывает у виолончели на нижних нотах, - прошел по моему позвоночнику, как чужие пальцы, от затылка до поясницы, и я сжала кулаки на коленях, чтобы не вздрогнуть.

— Седьмой, - поправила я.

Он посмотрел на секретаршу. Потом - снова на меня. И что-то дрогнуло в его лице - не улыбка, нет. Что-то другое. Что-то, похожее на интерес. Тот самый интерес, с которым смотрят на бабочку, прежде чем приколоть ее булавкой к

бархату.

— Заходите, - сказал он. И отступил, пропуская меня в кабинет. Его плечо - в сантиметрах от моего, его запах - одеколон, кофе, что-то деревянное, теплое, мужское, - обрушился на меня, как волна, и я задержала дыхание, потому что если бы вдохнула, - он бы услышал, как дрожит мой вдох.

Я зашла.

Дверь за мной закрылась.

И я еще не знала - не могла знать, не имела права даже подозревать, - что это был не вход.

Это была пасть.

Глава 2

«Люди приходят ко мне, как к алтарю, - на коленях, с мольбой, с влажными от надежды глазами. Они не понимают, что алтарь - это просто камень, на котором режут».

Утро начиналось с крови.

Не буквально - хотя бывало и буквально, - а с отчетов, в которых кровь была спрессована в сухие канцелярские формулировки: «в результате проведенной операции задержаны», «при обнаружении партии весом», «подозреваемый оказал сопротивление, в ходе которого». За каждой строчкой - чей-то разбитый рот, чьи-то наручники, чья-то перевернутая вверх дном жизнь, и я читал эти строчки так же, как читал утреннюю газету - с ленивым, привычным вниманием человека, для которого чужая катастрофа давно стала рабочим фоном, шумом за окном, не более значимым, чем гудение кондиционера в углу кабинета.

Кабинет. Мой мир. Моя операционная.

Дуб, кожа, приглушенный свет - все подобрано так, чтобы каждый, кто переступает этот порог, чувствовал себя чуть меньше, чем был за дверью. Потолки - высокие, давят величием. Кресло для посетителей - на три сантиметра ниже моего, едва заметно, никто не замечает сознательно, но тело понимает: ты ниже, ты - проситель, ты пришел в храм, а я - жрец, и правила здесь мои, и воздух здесь мой, и даже ти-

шина принадлежит мне, потому что я решаю, когда ее нарушить.

Я положил папку на стол. Четырнадцать задержанных, шесть приговоров, конкурентная сеть зачищена полностью. Камилов Т.Р. Девятнадцать лет. Статья 228.1, часть четвертая. Двенадцать лет строгого. Фамилия мелькнула и не задержалась - мусор, расходный материал, пыль на ветровом стекле.

Телефон. Артур.

— Та девочка. Которая ходит в приемную. Уже несколько раз. Без записи. Камилова. Сестра одного из осужденных по портовому делу.

Просто сидит и ждет. С утра. Молча.

Я замолчал. Посмотрел в окно - декабрь, серая муть, город внизу копошился в собственной слякоти. Просто сидит и ждет - терпение особого сорта, темное, вязкое, замешанное на отчаянии. Терпение человека, которому больше некуда идти.

Меня это не тронуло. Меня это заинтересовало. Разница - принципиальна.

— Досье на Камилову. Полное. Все, что есть. К утру.

Досье пришло к четырем ночи. Артур знал: если я попросил к утру, я хотел вчера.

Камилова Вера Андреевна. Двадцать два года. Мать - умерла, онкология. Отец - ушел. Образование - незаконченное, бросила. Работа - продавец в книжном (уволена), убор-

щица в бизнес-центре. Доход - двадцать две тысячи. Связи - одна подруга. Мужчин - нет.

Фотографии. Артур снимал скрытой камерой.

Я открыл первый снимок.

Худая девчонка в дешевом пальто - на размер больше, явно чужом. Темные волосы, стянутые в тугой хвост, так, что виски натянуты и лицо обнажено - все на виду, негде спрятаться. Скулы - не аристократические, а голодные. Глаза - огромные, темные, карие, и в них - не мольба, не покорность.

Настороженность. Дикая, звериная.

Я перелистнул. Следующий снимок - на улице, ветер, и полу пальто задрало, и под ним - юбка, темная, облепившая бедра, и колготки с затяжкой на правом колене, и в дыре капрона - кружок кожи, розоватый, незащищенный, обнаженный случайно, бессознательно, и от этого квадратного сантиметра голой кожи меня накрыло.

Не возбуждение. Не в том пошлом, тупом смысле, в каком возбуждают длинные ноги в чулках или красные губы на рекламном щите. Другое. Рваное, болезненное, похожее на ожог от прикосновения к оголенному проводу: мгновенный разряд, от пальцев до паха, от паха до горла, - и рот пересох так, будто я не пил трое суток, и я сидел за столом, и смотрел на эту дыру в колготках, на этот крошечный островок теплой живой кожи, - и хотел. Хотел так, как не хотел ничего и никого уже - сколько? Пять лет? Десять?

Женщины были. Были всегда - красивые, ухоженные, сер-

вированные к употреблению, как блюда в дорогом ресторане: правильные пропорции, правильная подача, правильный вкус. Я брал их, как берут со шведского стола - без голода, по привычке, потому что положено, потому что тело требует обслуживания, как машина требует бензина. Ни одна не заставила пересохнуть мой рот. Ни одна не заставила сжать зубы так, что заныла челюсть.

А она - с дыркой в колготках, с восемью квадратными метрами жилья и двадцатью двумя тысячами в месяц - сделала это одной фотографией, снятой через дорогу на длиннофокусный объектив.

Я увеличил снимок. Ее бедро в облепившей юбке - узкое, с очертанием мышцы под тканью, не модельное, не спортивное, а рабочее, жилистое, бедро женщины, которая ходит пешком, потому что автобус - роскошь. Талия - тонкая, не от диеты, а от голода, и ребра, наверняка, проступают, если поднять руки, и позвоночник виден, если наклониться, и ключицы торчат, как крылья птицы, которая разучилась летать. Я представлял - детально, безжалостно, с тем порнографическим усердием воображения, которое не контролируется никакой силой воли, - как выглядит ее тело без одежды. Худое. Острое. С выпирающими костями и впадинами, в которых собираются тени. Тело, не знавшее ни крема, ни массажа, ни чужих рук - ласковых, нежных, знающих, - тело, привыкшее только к работе, к холоду, к дешевому мылу и жесткой мочалке. Нетронутое. Не в девственном смысле -

в том, что никто не потрудились его узнать. Изучить. Прочитать, как читают карту: медленно, внимательно, запоминая каждый изгиб.

Я хотел прочесть эту карту. Пальцами. Губами. Языком.

Я закрыл снимок. Встал. Прошелся по кабинету. Тело звенело - низко, утробно, так, что вибрация отдавалась в ребрах, в горле, в паху, - и я ходил по своему кабинету, как зверь по клетке, четыре шага от стены до стены, и пытался загнать себя обратно в рамки, в систему, в ту холодную, рассчитанную машину, которой я был двадцать лет, - но машина не включалась, потому что у машины не бывает сухости во рту и не бывает стояка от фотографии дыры в колготках.

Сел. Налил виски. Глоток. Второй. Янтарь обжег горло, вернул фокус.

Следующий снимок. Она - у входа в тюрьму. С пакетом, прижатым к груди. Лицо - другое. Не настороженное - решительное. С тем выражением, которое я видел только однажды: в зеркале, в десять лет, после отцовского ремня. Не боль. Не слезы. Решимость.

Идеально. Одна. Никого. Ни мужчин, ни семьи, ни денег, ни связей. Единственная привязка - брат за решеткой. Моей решеткой. Уязвимость - абсолютная. Защита - нулевая.

Идеально - для операции. Для плана. Для тактического захвата.

Но слово «идеально» отдавало фальшью, потому что параллельно с тактикой - параллельно, одновременно, не вме-

сто, а вместе - работало другое: воображение, которое раздевало ее на каждом снимке, которое облизывало каждый пиксель, как пламя оближивает сухую щепку, и я ненавидел себя за это, ненавидел яростно, остервенело, как ненавидят зеркало, которое показывает правду.

Правда была проста и мерзка: я хотел ее. Не абстрактно, не концептуально, не как шахматную фигуру на доске, - а физически, утробно, всеми органами сразу, всеми нервными окончаниями, всеми рецепторами, которые я считал атрофированными и которые оказались живыми, голодными, ненасытными, разбуженными одной фотографией худой девочки с дырой в колготках.

Я поднял телефон. Набрал Ингу.

— Камилова сегодня придет?

— Она уже здесь, Марк Давидович. С семи утра. Снова.

— Пусть сидит. Я выйду сам.

Я встал. Поправил галстук. Посмотрел на свое отражение в темном стекле книжного шкафа - серые глаза, темный костюм, седина на висках, лицо, на котором ничего нельзя прочитать, потому что я стер все шрифты. Идеальная маска. Ни тени того, что происходило внутри: крови, бегущей по венам быстрее обычного, мышц, натянутых до предела, дыхания, которое я контролировал усилием воли, потому что если бы отпустил - дышал бы так, как дышат перед прыжком в пропасть.

Я открыл дверь кабинета.

Она сидела в кресле у окна. Прямая спина, руки на коленях, взгляд - прямо на меня, без заминки, без опущенных ресниц.

И вживую - вживую она была катастрофой.

Маленькая. Тонкая. С заостренными скулами и темными кругами под глазами, с мокрыми от декабрьского воздуха ресницами, с этим нелепым хвостом, который натягивал кожу на висках и обнажал все - и скулы, и шею, и маленькие уши с покрасневшими от холода мочками. Пальто - застегнутое до горла, и под ним - ничего не видно, и именно это «ничего не видно» сводило с ума, потому что мое воображение, разогнанное ночными фотографиями до состояния перегретого двигателя, достраивало все, что скрывала ткань: острые ключицы, ребра, впадину живота, и ниже, и ниже, и - Хватит, Ковач.

На шее - цепочка, тонкая, золотая, и на ней - кольцо. Мамино. Кольцо лежало в ложбинке между ключицами - в том самом месте, где кожа тоньше всего, где видно пульс, где при вдохе поднимается грудь, - и я смотрел на это кольцо, и думал: если положить палец туда, в эту ложбинку, - я бы почувствовал ее сердцебиение. Быстрое. Рваное. Живое.

— Вы та девушка, которая ходит сюда третий раз? - спросил я. Голос - теплый, профессиональный. Ровно столько участия, сколько нужно, чтобы расслабить мышцы собеседника.

— Седьмой, - сказала она.

И мир - качнулся.

Не «третий», не «извините», не «мне очень нужна ваша помощь». «Седьмой». Короткий, сухой, точный. Она поправила меня. Меня. В моей приемной, в моем здании. И от этой дерзости - от этого крошечного, ничтожного, невозможного бунта - кровь ударила в пах с такой силой, что я стиснул зубы и мысленно прочитал первую статью уголовного кодекса, потом вторую, потом третью, - потому что без уголовного кодекса я бы шагнул к ней, и взял бы за подбородок, и поднял бы ее лицо к своему, и посмотрел бы в эти карие глаза с расстояния вдоха, и -

Статья четвертая. Статья пятая. Статья шестая.

— Заходите, - сказал я. Отступил, пропуская в кабинет.

Она встала. Одернула пальто. Подняла подбородок. Прошла мимо - и я уловил запах: мороз, дешевое мыло, и под ними - она. Теплая кожа после холода, кровь, прилившая к щекам, шее, к тому месту за ухом, где волосы не дотягивались до хвоста и завивались мелкими, влажными от снега кольцами. От этого запаха у меня пересохло во рту - второй раз за сутки из-за нее, второй гребаный раз, - и я шел за ней, на полшага позади, и смотрел на ее затылок, на тонкую шею, на позвонок, выступающий над воротником пальто - один, верхний, первый, - и хотел провести по нему языком.

Я закрыл дверь. Сел за стол. Сложил руки - длинные пальцы, аккуратные ногти, часы за три годовых оклада. Маска на месте. Система работает. Голос - ровный. Взгляд - спокой-

ный.

Внутри - пожар.

— Рассказывайте, - сказал я. - Я слушаю.

И я действительно слушал. Как слушает хирург, которому описывают симптомы. Но параллельно - параллельно, одновременно, не вместо, а вместе, - я смотрел, как она говорит. Как ее губы двигаются, складываясь в слова, - обветренные, без помады, с трещинкой на нижней, которую она прикусывала, когда волновалась, оттягивая кожу зубами, и каждый раз, когда ее зубы впивались в эту губу, мне хотелось перехватить - пальцем, провести по нижней губе, оттянуть, и -

Статья двенадцатая. Статья тринадцатая.

Она говорила о брате. О тюрьме. О двенадцати годах. Ее голос дрожал, и ломался, и собирался заново, как птица, которая падает и снова взлетает, - и я смотрел не на ее лицо, а на ее руки. На костяшки, побелевшие от напряжения. На тонкое запястье. На вену, которая билась под кожей, синяя и живая, - и я знал: если положить два пальца на это запястье, я бы посчитал ее пульс. Восемьдесят? Девяносто? Сто? Сколько ударов в минуту делает ее сердце, когда она сидит напротив меня и не знает, что я провел ночь, разглядывая дыру в ее колготках?

И я уже знал - с абсолютной, нечеловеческой точностью механизма, который, оказывается, сломан, - что не отпущу ее.

Не сегодня.

Не завтра.

Может быть - никогда.

Глава 3

«Надежда - самое жестокое чувство на свете. Не боль, не страх, не даже горе. Надежда. Потому что боль можно пережить, страх - переждать, горе - перемолоть. А надежда - это когда тебе суют руку помощи, и ты хватаешься, и летишь вверх, и сердце поет, и мир светлеет, - а потом руку отдергивают, и ты падаешь с такой высоты, с которой никогда бы не упала, если бы не схватилась».

Кабинет пах деревом, кожей и - им.

Я не знала, что у власти есть запах, но теперь знала: горьковатый, теплый, с нотой чего-то древесного и опасного, как дым от костра, который жжет глаза и одновременно тянет ближе, потому что за дымом - тепло, а ты замерзла, замерзла до костей, до нутра, до самого дна, и это тепло - единственное в радиусе тысячи километров, и плевать, что оно сожжет, если подойдешь слишком близко.

Он закрыл дверь за моей спиной. Щелчок замка прошел по позвоночнику, как электрический разряд - снизу вверх, от копчика до затылка, и волосы на шее встали дыбом, и я не обернулась, хотя тело хотело обернуться, тело требовало обернуться, потому что он был сзади, и его присутствие ощущалось затылком, лопатками, каждым квадратным сантиметром спины - физически, как ощущают сквозняк, или чужое дыхание, или взгляд, который ложится на кожу и ве-

сит больше, чем ладонь.

— Присаживайтесь, - сказал он, и я услышала, как он движется за мной - шаги мягкие, неторопливые, и воздух между нами колебался, как колеблется поверхность воды, когда мимо проходит большая рыба: не видишь - чувствуешь.

Кресло. Глубокое, мягкое. Я села - и утонула, и утопание было не только физическим: он сел напротив, за столом, и расстояние между нами было полтора метра дубовой столешницы, и этих полутора метров было одновременно слишком много и катастрофически мало. Слишком много - потому что я не видела деталей: линию его челюсти, тень в ямке под нижней губой, движение кадыка, когда он сглатывал. Катастрофически мало - потому что даже через полтора метра дуба я чувствовала его тепло, его запах, его гравитацию, и мое тело непроизвольно подавалось вперед, на сантиметр, на два, как железная стружка подается к магниту, - и я ненавидела себя за это, ненавидела истово, до белых костяшек на подлокотниках.

Он сложил руки на столе. Те самые руки, от фотографии которых у меня вчера на остановке поехала крыша, - и вживую они были хуже. Хуже - потому что реальнее, объемнее, живее: длинные пальцы, переплетенные медленно, точно, с той хирургической грацией, от которой пересыхало в горле и влажнело в ладонях, и я видела, как свет лампы ложится на его запястья, на выступающие вены, на тонкую кожу между большим и указательным пальцем, - и каждая деталь впечат-

тывалась в сетчатку с фотографической четкостью, и я знала, что сегодня ночью, в своей комнате, на своей продавленной кровати, под своим тонким одеялом, - я буду лежать и видеть эти руки на темном дубе, и чувствовать то, что чувствую сейчас: стыдный, невозможный, сводящий с ума жар внизу живота.

— Рассказывайте, - сказал он. - Я слушаю.

Я открыла рот - и горло сжалось. Все, что я репетировала, все, что выучила наизусть, - испарилось, выжженное близостью этого мужчины, его голосом, который ложился на кожу, как прикосновение, бархатный, низкий, с той вибрацией, которую ощущаешь не ушами - грудной клеткой.

Я начала говорить. Сбивчиво, путано, глотая окончания. О Тимуре, о деле, о двенадцати годах. Злясь на себя за каждый сбой, за каждую паузу. И - за каждый взгляд на его руки, его шею, его губы, которые были чуть сухими и чуть приоткрытыми, когда он слушал, и от этих губ хотелось отвести глаза, но глаза возвращались, снова и снова, как язык возвращается к больному зубу.

Он слушал. Не перебивал. Не записывал. Просто - слушал, и его серые глаза двигались по моему лицу, как пальцы по клавишам - точно, уверенно, нажимая на каждую точку, - и я чувствовала, как его взгляд проходит по моим скулам, по губам, по шее, по тому месту, где пульс бился под кожей, учащенный, выдающий все, что я пыталась скрыть.

Он встал. Налил воды. Подошел - и расстояние сократи-

лось до вытянутой руки, и его бедро оказалось на уровне моих глаз, и я смотрела в стакан, только в стакан, впивалась взглядом в стакан, как в спасательный круг, потому что если бы подняла глаза - увидела бы его живот, его грудь, его шею, его подбородок, - и цепочку, тонкую, серебряную, которая мелькнула в вырезе рубашки на секунду, когда он наклонился, и от этого мелькнувшего серебра на его коже у меня задрожали колени.

Я взяла стакан. Наши руки не соприкоснулись - миллиметр зазора, может два, - но воздух в этом зазоре был раскаленным. Я почувствовала тепло его пальцев, не касаясь, - фантомное, невозможное тепло, от которого по руке прошла волна, и добралась до локтя, и до плеча, и до того места в груди, где сердце колотилось так, что ребра дрожали.

Пила. Вода была ледяной, и от контраста - его тепло и ледяная вода - зубы свело, и горло обожгло, и на секунду мне показалось, что все будет хорошо.

Дура.

— Вы считаете, что приговор несправедлив? - спросил он, вернувшись за стол, и я выдохнула, потому что дуб между нами снова стал барьером, крепостной стеной, единственным, что отделяло мой рассудок от безумия.

— Мой брат - не наркоторговец, - сказала я. И услышала, как мой голос наконец обрел форму - твердую, металлическую. Тимур. Думай о Тимуре. Не о его руках, не о его голосе, не о серебряной цепочке на его шее - о Тимуре.

Он чуть наклонил голову. Два градуса вправо. И этот наклон обнажил линию его шеи - длинную, с напряженной жилой, с тенью в ямке под ухом, - и я подумала: хватит. Хватит. Ты здесь не для этого. Ты здесь, потому что твой брат сидит в тюрьме, и его бьют, и он говорит «полка», и ты - единственная, кто может его вытащить. Не смотри. Не чувствуй. Не смей.

— Я могу помочь, - сказал он. Помолчал. И добавил, глядя мне в глаза - прямо, без мигания, без той вежливой пелены, за которой прокуроры прячут свои решения: - Но у всего есть цена, Вера Андреевна.

Вера Андреевна. Мое имя в его устах было прикосновением - мягким, точным, властным. Он произнес его так, как произносят заклинание: медленно, по слогам, будто пробуя на вкус. И от этого - от того, что мой рот мгновенно наполнился слюной в ответ, будто я пробовала на вкус его имя, хотя даже не произнесла его вслух, - от этого мне захотелось провалиться сквозь кресло, сквозь пол, сквозь все этажи прокуратуры, в землю, в темноту, туда, где никто не увидит, как двадцатидвухлетняя голодная дура краснеет перед мужчиной, который держит жизнь ее брата в своих длинных, красивых, невозможных руках.

— Какая цена? - спросила я. Голос не дрогнул. Тело - да, тело пылало, но голос - нет.

— Приезжайте завтра. Не в кабинет. Домой. Обсудим условия.

Домой. Слово упало между нами - тяжелое, непрозрачное, горячее. Не «в офис», не «в переговорную», не «на нейтральную территорию» - домой. Его дом. Его пространство. Его правила. Его запах, его мебель, его стены, - и я внутри.

Я должна была отказаться. Каждый нерв, каждый инстинкт, каждый голос в моей голове - кроме одного - кричал: нет, не ходи, это ловушка, это не помощь, это - охота, и ты - добыча. Но один голос - тихий, упрямый, голос Тимура, который сказал «пожалуйста», - этот голос шептал: иди.

— Хорошо, - сказала я.

Он протянул визитку. Наши пальцы соприкоснулись - на полсекунды, на четверть, на долю, - его кожа была сухой и горячей, и от этого прикосновения - мимолетного, ничтожного, случайного - по моей руке прошел разряд, белый, слепящий, прошибающий от кончиков пальцев до солнечного сплетения, и я вдохнула резко, сквозь зубы, и он это услышал. Я видела, как дрогнули его ресницы. Видела - и понимала: он знает. Он знает, что его прикосновение - даже такое, даже мимолетное - делает со мной. И он пользуется этим знанием.

Я забрала визитку. Встала. Вышла.

За дверью кабинета - коридор, линолеум, гудящие лампы. Нормальный мир. Безопасный.

Я прижала визитку к груди. Картон был еще теплым от его руки.

И от этого тепла - чужого, украденного, горящего через

картон, через ткань, через кожу, прямо в сердце - я поняла: я пропала. Еще до того, как переступила порог его дома. Еще до того, как узнала условия. Еще до того, как все началось.

Я пропала - в ту секунду, когда наши пальцы соприкоснулись.

Глава 4

«Мой отец говорил: чтобы приручить дикое животное, не нужна клетка. Нужно терпение. Ты приходишь каждый день и кладешь мясо на одно и то же место. И уходишь. И возвращаешься. И кладешь. Животное боится. Потом - привыкает. Потом - ждет. А потом ты не приходишь один раз - и оно бежит тебя искать. Вот тогда оно твое».

Она придет.

Я знал это с той же абсолютной точностью, с которой знал давление в собственных артериях - не потому что проверял, а потому что систему, которую выстроил, невозможно было обмануть. У Камиловой Веры Андреевны не осталось ни одного хода, кроме того единственного, который вел сюда, в мой дом, в мои условия, и когда у человека заканчиваются ходы, он не думает - он делает то, что продиктовано инстинктом выживания.

Она придет. Не потому что хочет. Потому что Тимур.

Но было еще кое-что. Кое-что, о чем я не собирался думать, но думал - с четырех утра, без перерыва, как заевшая пластинка, как нерв, в который попал осколок.

Ее вдох.

Вчера. В кабинете. Когда наши пальцы соприкоснулись на визитке - полсекунды, касание, ничто, - она вдохнула. Резко, сквозь зубы, с тем коротким свистящим звуком, который

издает человек, прикоснувшийся к раскаленному, - и от этого вдоха мое тело среагировало быстрее разума: кровь ухнула вниз, мышцы напряглись, зрачки расширились, и я стоял, держа в руке визитку, которую она еще не забрала, и между нашими пальцами было расстояние в один слой картона, и этот слой горел.

Она хотела меня.

Не осознанно, не добровольно, не радостно - но хотела. Ее тело говорило на языке, который не подделать: расширенные зрачки, учащенный пульс на шее (я видел, как билась жилка под кожей, быстро, рвано, как пойманная птица), румянец, проступивший сквозь бледность, как кровь сквозь бинт, - и дыхание, то самое дыхание, которое она пыталась контролировать и не могла, потому что контроль - моя территория, не ее, и ее тело знало это раньше, чем узнала она.

Она хотела меня - и ненавидела себя за это. Я видел ненависть в ее сжатых кулаках, в побелевших костяшках, в том, как она отводила глаза от моих рук с таким усилием, будто отдирала присохший пластырь.

И от этой комбинации - желание и ненависть, притяжение и отвращение, жар и лед в одном теле, - у меня сорвало резьбу. Не публично, не визуально - внутри, в том месте, где хранились двадцать лет идеального самоконтроля. Резьба сорвалась, и болт полетел в пустоту, и конструкция, которую я строил всю жизнь, качнулась на фундаменте.

Загородный дом. Сорок минут от города. Бетонный забор.

Камеры. Тишина. Мой мир. Моя операционная.

Я готовил этот дом - не как тюрьму, нет. Тюрьма - это холод, бетон, вонь. Я готовил - ловушку. А хорошая ловушка должна быть красивой. Должна пахнуть хлебом и каминном. Должна быть теплой, мягкой, обволакивающей, - чтобы жертва не рвалась, а засыпала, и просыпалась, и не сразу понимала, что заперта.

Артур приехал к восьми. Я инструктировал - комната, камеры, периметр, телефон, - и пока говорил, руки жили отдельной жизнью: проверяли полотенца на мягкость, разглаживали складку на пуховом одеяле, касались подушки - ее подушки, той, на которой через двенадцать часов будут лежать ее волосы.

Ее волосы. В досье - ни одной фотографии с распущенными. Всегда - стянуты, убраны, как оружие в кобуре. Но ночью резинка соскользнет, и темные пряди рассыплются по белому хлопку, и подушка впитает ее запах - не духи, нет, у нее нет духов, у нее есть дешевое мыло и чистая кожа, - и этот запах останется на наволочке, когда она встанет утром, и я буду знать, что он здесь, ее запах, в моем доме, в моей ткани, на расстоянии одного вдоха.

— Марк Давидович, - Артур стоял в дверях и смотрел на меня тем взглядом, который я ненавидел. - Вы гладите подушку.

Я убрал руку. Молча. Без комментариев. Потому что комментировать было нечего: я, Марк Ковач, гладил гребаную

подушку, как шестнадцатилетний дебил перед первым свиданием, и Артур это видел, и я это видел, и между нами повисло то молчание, которое бывает между людьми, когда один из них сходит с ума, а второй слишком лоялен, чтобы сказать это вслух.

— Документы по делу, - переключился я. Голос - ровный, рабочий, прокурорский. Машина заводилась, шестеренки крутились, система работала. - Позвоню Петровскому, инициируем пересмотр. Процесс - долгий, три-пять месяцев. Результат - положительный, но не сейчас.

— Не сейчас, - повторил Артур. Не вопрос - констатация. Он понимал: «не сейчас» означало «пока она здесь». Пока ее тело - в моем доме. Пока ее запах - на моих подушках. Пока ее вдох - в моей памяти.

Артур ушел. Я остался.

Кухня. Холодильник. Продукты - мясо, овощи, хлеб из пекарни на Садовой. Я готовил сам, и в процессе готовки было единственное доступное мне спасение: ритм ножа по доске, шипение масла на сковороде, точные движения, выверенные секунды. Контроль, сублимированный в кулинарию. Кастрюли вместо людей. Температура вместо эмоций.

Но сегодня - не работало. Потому что я резал томаты и думал о ее губах - обветренных, с трещинкой на нижней, которую я заметил вчера, когда она говорила о Тимуре и прикусывала эту губу, оттягивая кожу зубами, и от этого жеста - бессознательного, нервного, детского - у меня потемнело в

глазах, и нож соскользнул, и я порезал палец, и кровь капнула на доску, красная на белом, как метка, как предупреждение, как знак: остановись, Ковач, пока не поздно.

Я не остановился. Залепил палец пластырем и продолжил резать.

Потому что останавливаться - значит думать. А думать - значит признать, что я делаю это не ради контроля. Не ради тактики. Не ради игры, которую я вел двадцать лет и ни разу не проигрывал.

Я делаю это, потому что вчера она вдохнула, когда мой палец коснулся ее, - и этот вдох разбудил что-то, что я считал мертвым.

И это «что-то» хотело еще.

Хотело - больше, чем вдох. Больше, чем касание через картон. Хотело - ее кожу под своими пальцами, не через визитку, а напрямую, без посредников, без преграды. Хотело - узнать, какая она на ощупь: там, на колене, где рвутся дешевые колготки; на шее, где пульс колотится, как сумасшедший; на запястье, где вены просвечивают синим; на пояснице, где позвонки выступают, как четки. Хотело - ее запах не на подушке, а на своей коже, въевшийся, неотстирываемый. Хотело - ее стон, ее вздох, ее «нет», превращающееся в «да» на выдохе.

Хотело - все.

Я поставил нож. Уперся ладонями в столешницу. Закрыв глаза. Вдох. Выдох. Контроль. Порядок. Система.

Система. Система. Система.

Не помогло.

Я открыл глаза, и мир был прежним - кухня, нож, томаты, кровь на доске, - но я был другим, и это «другой» пугало больше, чем все, с чем я сталкивался за двадцать лет по обе стороны закона.

Телефон. Петровский. «Дело Камилова, пересмотр, три-пять месяцев, результат положительный. Не торопись».

Положил трубку. Подошел к окну. Березы в инее. Серое небо. Забор.

Завтра - она будет здесь. В этом доме. На расстоянии вытянутой руки. И между нами не будет дубового стола, и картонной визитки, и секретарши за стеной. Только - стены, камин, теплый пол, пуховое одеяло и ночь. И мое тело, которое уже сейчас - за двенадцать часов до ее приезда - ведет себя так, будто она рядом: напряженное, перегретое, со стоящей дыбом каждой жилой.

Я налил виски. Десять утра. Рано. Плевать.

Жидкость обожгла - горло, пищевод, желудок. Мир встал на место. Почти. Не до конца. Потому что на дне стакана, в янтарном отражении, я видел не свое лицо - а ее. Карие глаза. Обветренные губы с трещинкой. Пульс на шее.

Завтра.

Капкан расставлен. Приманка - свобода ее брата. Механизм - мой дом, мои правила, мое присутствие.

Но вот в чем штука, которую я не мог признать и которая

жрала меня изнутри, как кислота жрет металл: я не знал, кто в этом капкане - охотник, а кто - добыча.

Потому что вчера она вдохнула. И от ее вдоха у меня остановилось сердце.

А у охотников сердце - не останавливается.

Глава 5

«Знаешь, что самое страшное в ловушке? Не зубья. Не боль. Не то, что ты попалась. Самое страшное - что ловушка красивая. Что в ней тепло. Что в ней пахнет хлебом и горят свечи. И ты стоишь, и думаешь: а может, это не ловушка? Может, это просто дом? И пока ты думаешь - зубья смыкаются».

Машина свернула с трассы, и мир за окном переменялся так резко, будто кто-то перевернул страницу - была одна картинка, стала другая. Только что - город: асфальт, маршрутки, ларек с шаурмой. А теперь - лес. Густой, темный, стоящий стеной, как конвой, как армия, которая пропускает тебя вглубь и смыкается за спиной. Артур - сухой, бесцветный, с лицом-промокашкой - не сказал ни слова с момента, как я села в машину.

Сумка - одна, потертая, с оторванной ручкой. Три футболки, двое джинсов, мамино кольцо во внутреннем кармане. И фотография Тимура - четырнадцать лет, водяной пистолет, улыбка во весь рот. Ради этой улыбки я ехала в машине незнакомого мужчины к дому человека, от одного прикосновения пальцев которого - через визитку, через картон, через слой бумаги - у меня останавливалось сердце.

Ворота. Бетонный забор. Камера на столбе - повернулась, уставилась черным зрачком.

Дом. Двухэтажный, деревянно-каменный, с желтым светом в окнах. Не дворец - обжитой. И от этого «обжитого» стало хуже, потому что дворец можно ненавидеть, а дом - дом притягивает, дом обещает, дом шепчет: «Войди, здесь тепло», - и тыходишь, потому что замерзла, потому что устала, потому что за двадцать два года жизни у тебя никогда не было дома, а был только потолок с протечкой и запах чужих кошек.

Дверь открылась.

Он стоял на пороге.

И у меня отказали легкие.

Не прокурор. Не костюм, не галстук, не кабинетная лакировка. Мужчина. В темном кашемировом свитере, мягком, облегающем плечи - широкие, с перекатом мышц, которых не было видно под пиджаком, а теперь - были, и от них перехватывало дыхание. Джинсы - черные, свободные, низко на бедрах. И - босые ноги в домашних туфлях.

Босые ноги. Эта деталь ударила меня в солнечное сплетение с силой кувалды. Потому что босые ноги - это дом. Это интимность. Это «здесь я снимаю броню». И видеть его босые ступни на деревянном полу - узкие, сухие, с выступающими сухожилиями - было непристойнее, чем если бы он стоял голый, потому что нагота - ожидаема, а босые ноги - нет, и неожиданность распахивала что-то внутри, как нож распахивает конверт, - грубо, необратимо.

Без часов. Запястье - голое, загорелое даже зимой, с ре-

льефом сухожилий и вен, и я вспомнила его руки на дубовом столе, и визитку, и полсекунды касания, - и руки задрожали так, что я вцепилась в ремень сумки, чтобы он не увидел.

— Заходите, - сказал он. Голос - тише, чем в кабинете. Домашний. Без прокурорской наждачки. Мягче. Ниже. И от этого регистра - от этих бархатных низов, которые ложились на кожу, как ладонь на голое бедро, - у меня ослабели колени, и я переступила порог, и его запах обрушился на меня лавиной: одеколон - другой, не кабинетный, свежее, древеснее; кофе; камин; и - он, его собственный, неподдельный, мужской запах, теплый, с нотой мускуса и чистого тела, который невозможно подделать и невозможно забыть.

Тепло. Потрескивание камина. Медные кастрюли на крючках. И - он, ведущий меня по дому, на полшага впереди, и я шла за ним и смотрела на его спину - широкую, с подвижными лопатками под кашемиром, с линией позвоночника, которая уходила вниз, к пояснице, к джинсам, к тому месту, куда я запрещала себе опускать взгляд, - и опускала, и видела, и ненавидела себя за то, что вижу.

Библиотека. Полки до потолка. Книги - тысячи. От них перехватило горло, защипало глаза, и я стояла и не могла войти, потому что это было слишком красиво для ловушки, слишком совершенно для тюрьмы.

Моя комната. Кровать. Пуховое одеяло. Полотенца, мягкие, пушистые, белые. Теплый пол под ногами. И - его рука, указывающая на замок двери: «Изнутри». Эта рука - в по-

луметре от моего бедра, и я чувствовала его близость каждым миллиметром левого бока, каждым нервом, каждым капилляром, будто он не стоял рядом, а касался, хотя между нами было пространство, и в этом пространстве воздух был настолько наэлектризован, что, казалось, - протяни палец, и между нами проскочит искра. Видимая. Синяя. С хрустом.

Он не вошел в комнату. Стоял в дверном проеме. И от этого «не вошел» - от осознанной, демонстративной границы, которую он выстроил между своим телом и моим пространством, - мне стало жарко, по-настоящему, физически, как бывает жарко перед обмороком: виски запульсировали, щеки загорелись, и между ног - предательски, постыдно, невозможно - стало влажно, и я сжала бедра и отвернулась, и смотрела в окно на лес, и думала: я ненормальная, я больная, я чокнутая, он мой тюремщик, он забрал мою жизнь, он держит моего брата, а мое тело течет от того, что он стоит в дверях и не входит.

Кухня. Ужин. Он готовил - сам, с закатанными рукавами, и его предплечья были жилистыми, загорелыми, с темными волосками и шрамом на левом, и мышцы двигались под кожей, когда он резал хлеб, и нож в его руке был продолжением тела, и он владел лезвием с той интимной уверенностью, от которой хотелось закрыть глаза и одновременно - не моргать, не пропустить, впитать каждое движение. Его пальцы - те самые, от визитки, от кабинетного стола, от бессонных ночей в моем воображении - брали ломтик мяса, переворачивали,

поправляли, и я смотрела, как он касается еды, и представляла, как эти пальцы касаются - нет. Нет. Тимур. Думай о Тимуре.

Ел - напротив, молча, наблюдая, как я ем. И от его взгляда каждый кусок застревал в горле, потому что он смотрел не на лицо, а на мой рот - на губы, жующие, глотающие, облизывающие, - и в его серых глазах было что-то, от чего хотелось то ли закрыться руками, то ли раздвинуть их.

Потом - условия. Его голос: «Ты живешь здесь. Со мной. Выходить - нельзя. Звонить - по моему телефону».

Каждое слово - гвоздь. В крышку гроба моей свободы.

— А если нет? - спросила я. Голос не дрогнул. Тело - да. Тело пылало.

— Дверь открыта. Но закроется навсегда. И для тебя. И для Тимура.

Тимур. Имя брата в его устах - нож в ране. Он знал, куда бить.

Молчание. Минута. Две. Три.

— У меня есть условие, - сказала я.

Его бровь дрогнула. Одна. Левая.

— Я хочу видеть документы. Каждый этап. Если вы лжете - я узнаю. А человек, которому нечего терять, - опасен.

Тишина. И - его улыбка. Не прокурорская. Настоящая. Кривая, короткая, болезненная. От нее у меня перехватило дыхание - потому что эта улыбка была красивой. Не холодно-красивой, как его костюмы, а уязвимо-красивой, как тре-

щина в стене, сквозь которую виден свет.

— Договорились, - сказал он.

Я осталась. И знала - обоими полушариями, и телом, и кожей, и маминым кольцом, горящим на груди, - что осталась не только ради Тимура.

Глава 6

«Есть вещи, которые нельзя удержать, не сломав. Снежинку. Мыльный пузырь. Бабочку. Я всегда это знал. И всегда - ломал».

Она согласилась, и мир не перевернулся - кухня, свечи, ее лицо напротив, бледное, жесткое, с выражением человека, подписавшего смертный приговор. Но параллельно с этим миром, который не перевернулся, внутри меня происходил другой - раскаленный, хаотичный, неуправляемый, - потому что последний час я сидел напротив нее, и смотрел, как она ест, и видел, как ее горло двигалось при каждом глотке, как кадык вздрагивал под тонкой кожей, как язык - розовый, быстрый, мокрый - облизывал нижнюю губу после каждого куска мяса, и от каждого такого движения язычка у меня в паху нарастало давление, тугое, бессовестное, выводящее из строя все мыслительные процессы, которыми я так гордился.

Она согласилась. Хорошо. Теперь - телефон.

— Телефон, - сказал я, не оборачиваясь. Стоял у раковины, мыл посуду, смотрел на свои руки в мыльной пене. - Твой старый. Отдай.

Она стояла у стола - я чувствовал ее спиной, как чувствуют сквозняк, как чувствуют пламя. Прижимала к бедру карман с телефоном - жест инстинктивный, защитный.

Я обернулся - вытирая руки полотенцем, медленно, и

взглядом скользнул по ней: от лица - вниз, по шее, по ключицам, по груди под дешевой футболкой (маленькая грудь, без бюстгалтера - холодно, соски проступали сквозь ткань, два маленьких твердых бугорка, от которых у меня помутнело в глазах), по животу, по бедрам в джинсах, по коленям, которые я знал наизусть по фотографии, - и вернулся к лицу, и она это видела, видела весь маршрут моего взгляда, и ее щеки вспыхнули - не румянцем, а жаром, тем самым, от которого зрачки расширяются и дыхание учащается, и я видел, как ее грудь поднялась и опустилась - резче, чаще, - и футболка натянулась, и соски обозначились четче, и я стиснул полотенце в кулаке так, что побелели костяшки.

Она положила телефон на стол. Между нами. Экран мигнул - заставка: Тимур, мокрые плавки, водяной пистолет.

Мальчишка. Я уничтожил мальчишку с водяным пистолетом. Три секунды на фотографию - и что-то хрустнуло в грудной клетке.

Я убрал телефон. Выдал новый - черный, чистый. Положил на стол. Наши руки не соприкоснулись - я проследил, чтобы не соприкоснулись, потому что вчерашняя визитка научила: одно касание - и от меня ничего не останется, кроме голодного, трясущегося животного в дорогом свитере.

— Можешь звонить брату когда хочешь. Разговоры не ограничены.

Ложь. Записывались. Но не ради информации - ради голоса. Чтобы слушать ночью, как она говорит «Тимур», и «дер-

жись», и «люблю», и представлять, как звучало бы мое имя - «Марк» - этими обветренными губами, в этом хриплом голосе, шепотом, стоном, криком.

— Спасибо, - сказала она. Тихо.

— Не благодари, - ответил я. Резче, чем хотел. Потому что ее благодарность жгла: она была настоящей, незаслуженной, невозможной, и от нее хотелось одновременно отвернуться и вжаться лицом в эту благодарность, как в подушку, и задохнуться.

Она встала.

— Я пойду наверх.

Развернулась и пошла к лестнице. И я смотрел ей в спину - узкую, с торчащими лопатками, - и каждый позвонок ее хребта просвечивал сквозь футболку, и я считал их, один за другим, как считают драгоценные камни в ожерелье: шейные - семь, грудные - двенадцать, и дальше, вниз, к пояснице, к изгибу, к тому месту, где позвоночник переходит в крестец, и крестец - в ягодицы, обтянутые джинсами, и от этого маршрута - от шеи до ягодиц, от первого позвонка до последнего, - меня выкрутило так, что я вцепился в край столешницы и не двинулся, потому что если бы двинулся - не знал, что бы произошло.

Она исчезла на лестнице. Шаги - босиком по дереву (сняла ботинки в прихожей, и этот домашний жест - босые ноги в моем доме - ударил под колени). Щелчок замка.

Я остался.

Тишина - населенная. В ней кто-то дышал. За стеной, за потолком, за одним пролетом. Ее дыхание меняло акустику, температуру, давление.

Рыжий пришел. Запрыгнул на стул, который она только что освободила. Свернулся на теплом сиденье - ее тепло, оставшееся на обивке, - и заурчал. Предатель. Лежал на ее тепле и урчал, и я смотрел на кота, и завидовал коту, и от этой зависти - к рыжему, толстому, бесполезному животному, которое лежало на тепле ее ягодиц и было счастливо, - мне захотелось рассмеяться. Или разбить что-нибудь. Или то и другое одновременно.

Поднялся наверх. По коридору - мимо ее двери. Остановился.

Тишина за дверью. Потом - шорох ткани. Она раздевалась. Этот звук - шепот ткани по коже, шуршание, которое бывает, когда снимают футболку через голову, когда джинсы скользят по бедрам вниз, - проник сквозь дерево, как нож сквозь масло, и я стоял в темноте коридора, и слушал, как она раздевается в моем доме, за моей дверью, на расстоянии одного шага, одного удара сердца, одного поворота ручки, - и мое тело реагировало на каждый звук с точностью сейсмографа: шорох - пульс вверх, шепот ткани - дыхание сбоило, скрип кровати (легла) - кровь хлынула вниз, и стояк был таким, что штаны стали пыткой.

Я стоял. И слушал. И ненавидел себя - с такой концентрированной, чистой, дистиллированной яростью, какой не

испытывал с десяти лет, когда отец впервые объяснил мне, что любовь - это слабость, а слабость - это смерть. Я стоял под дверью женщины, которую заточил в своем доме, и слушал, как она раздевается, и каждый звук был интимнее секса, каждый шорох - откровеннее стоны, потому что она не знала, что я здесь, и поэтому была настоящей, без щитов, без хвоста, без вздернутого подбородка, - просто девочка, снимающая одежду после самого длинного дня в своей жизни.

Потом - плач. Тихий. В подушку. Сдавленный, судорожный, как у ребенка, который разучился плакать при свидетелях.

И от этого плача - от его беззвучности, от его безнадежности, от того, как он просачивался сквозь стену, как кровь сквозь бинт, - все, что было ниже пояса, отступило. Стояк опал. Похоть смолкла. Осталось - другое. То, что жило под похотью, под контролем, под всеми слоями, которые я нарастил за тридцать лет: голое, болезненное, безымянное чувство, от которого хотелось открыть дверь, и лечь рядом, и обнять, и ничего больше - просто обнять, и держать, и молчать, пока она не перестанет плакать.

Я не открыл.

Развернулся. Ушел к себе. Закрыл дверь. Сел на кровать. Рыжий пришел - теплый, урчащий. Лег рядом. Единственное прикосновение, доступное мне этой ночью.

Я лежал в темноте и слушал тишину, которая больше не была пустой.

В ней жила она.

И мое тело - каждая мышца, каждый нерв, каждая клетка - знало, что она рядом. За стеной. В моем доме. В моей постели (не моей - выделенной, но из моего белья, с моим одеялом, на моем матрасе). И это знание - физическое, осязаемое, как фантомная боль в отрезанной конечности - не давало уснуть, не давало думать, не давало быть тем, кем я был двадцать лет: машиной.

Машина - сломалась.

А то, что осталось, - мужчина, сорок лет, с мокрыми глазами и вибрирующим котом под рукой, - это было слишком мало, слишком мягко, слишком человечно для того, что я собирался сделать.

Но я собирался. Потому что отступить - значит отпустить. А отпустить - значит потерять. А потерять ее - сейчас, после ее запаха, после ее вдоха, после ее позвонков и ее плача в подушку, - потерять ее было невозможно.

Физически. Невозможно.

Как невозможно перестать дышать по собственной воле.

Глава 7

«Мама говорила: когда страшно - считай до десяти. Когда очень страшно - считай до ста. Она не сказала, до сколько считать, когда ты лежишь в чужой постели, в чужом доме, и твое тело горит не от страха - от того, что за стеной спит мужчина, который забрал твою свободу, а ты считаешь не секунды, а его шаги».

Замок щелкнул, и я прислонилась к двери спиной - вдавливая лопатки в дерево, будто пыталась врасти в него, стать частью стены, исчезнуть.

Комната. Не моя - его, выделенная мне, как камера заключенному.

Я стояла и дрожала. Не от холода - от того, что тело, предательское, голодное, вечно мерзнувшее тело, впервые за месяцы было сытым и теплым, и от этого сытого тепла по нервам шла не благодарность, а паника, потому что сытость и тепло - его, он дал, он приготовил, и принять - значит впустить, а впустить - значит привыкнуть, а привыкнуть - значит пропасть.

Я стянула ботинки. Ноги - ледяные, влажные, замученные. Ступила на пол - и вздрогнула, потому что пол был теплым. Подогрев. Его забота, просочившаяся сквозь доски прямо в мои подошвы, в мои щиколотки, в мои икры, вверх по голеним, по коленям, по бедрам, - тепло поднималось по

ногам, как прилив, как расплавленный воск, и добиралось до того места, которое и без того горело весь вечер, - с тех пор как я увидела его в свитере, босого, с голыми запястьями, с этим невозможным запахом, который вьелся мне в кожу, в волосы, в одежду, и теперь стоял в комнате, как присутствие, как призрак, как он сам.

Нужно было раздеться. Лечь. Уснуть.

Я стянула футболку через голову, и прохладный воздух коснулся живота, ребер, груди - и от этого прикосновения, невинного, воздушного, кожа покрылась мурашками, и соски затвердели, и я стояла посреди комнаты, полуголая, с мамиными кольцом на цепочке между ключицами, и чувствовала воздух его дома на своем теле, как чувствуют чужие руки, - каждым нервом, каждой порой. Его воздух. Нагретый его камином, пропитанный его запахом, дышащий его дыханием.

Джинсы - вниз, по бедрам, по коленям, и я перешагнула через них, и осталась в одном белье, тонком, дешевом, застиранном до серости, - и мне стало стыдно, не за бедность, а за то, что я подумала о стыде. Что мне не все равно, как выглядит мое белье в его доме. Что мне не все равно - ему.

Натянула ночную футболку - длинную, старую, до середины бедра. Легла.

Постель приняла меня - мягко, глубоко, как объятие, которого не было, но которое тело помнило откуда-то из детства, из маминых рук, из того времени, когда ложиться спать

не означало бояться. Одеяло - пуховое, легкое, горячее - накрыло от подбородка до пальцев ног, и тело выдохнуло все, что копило: напряжение, холод, голод, страх, - и в этом выдохе было что-то похожее на капитуляцию, и я ненавидела эту капитуляцию, потому что она принадлежала ему, его одеялу, его простыням, его подушке, которая пахла - им. Не одеколоном, не порошком - им, тонко, еле уловимо, как будто он когда-то спал здесь, или сидел на этой кровати, или касался этой подушки, - и его молекулы впитались в ткань, и теперь я лежала лицом в его запахе, и дышала им, и ненавидела себя за то, что дышала глубже, чем нужно.

Телефон. Черный, чужой. Набрала Тимура.

— Алло?

Его голос. Мой Тимур. Хриплый, ломкий, с надтреснутым тембром, который он так и не перерос. От этого голоса все, что копилось, рванулось наружу - и я зажала рот ладонью, чтобы не закричать.

— Тим. Это я. Поменяла телефон.

— Вер? Номер другой.

— Старый сломался. Как ты?

— Нормально.

Нормально. Его щит. Его броня. Его проклятие.

— Я нашла работу. Новую. С проживанием. Загородный дом, помощница по хозяйству.

Пауза. Молчание, в котором я слышала все его невысказанные вопросы: какой дом, кто этот человек, почему ты

врешь, Вера, почему твой голос звучит как чужой?

— Загородный дом, - повторил он. По слогам. Как диагноз.

— Тут тихо. Лес. Библиотека. Мне хорошо, Тим.

Ложь. Огромная. Раскаленная. Но - нужная. Потому что он слушает. Он. Марк. За стеной, этажом ниже, или через свой чистый телефон, через свои серверы, через свою систему - он слушает каждое мое слово, и я не имела права быть честной, не имела права сказать: «Тимур, меня продали, я продалась сама, и человек, который держит меня, смотрит на мой рот, когда я ем, и от его взгляда у меня подкашиваются ноги, и это - самое страшное, страшнее замков и камер, потому что замки можно сломать, а то, что делает со мной его взгляд, - нельзя».

— Береги себя, - сказал Тимур. Тихо. Как прощание.

Я нажала отбой. Положила телефон на тумбочку. Экран погас.

И тогда - позволила.

Легла лицом в подушку - его подушку, в его запахе - и плакала. Всем телом. Всеми ребрами. Из живота, из того места, где живет душа. Плакала - за Тимура, за маму, за себя, за двенадцать лет, за восемь квадратных метров с протекающим потолком, за дыру в колготках, за двадцать две тысячи в месяц, и - за его руки, за его голос, за его серые глаза, за то, что я лежала в его постели и дышала его запахом, и мое тело - мокрое от слез и влажное между ног - хотело его, несмотря

ни на что, вопреки всему, поперек разума и совести.

Потом - тишина.

Шаги. В коридоре. Его шаги - я узнала мгновенно, потому что его походку я запомнила за один вечер: уверенная, размеренная, с чуть удлиненным левым шагом, как у людей, которые привыкли ходить быстро, но заставляют себя замедлиться.

Он остановился. За дверью. В двух шагах.

Я замерла. Дыхание прекратилось. Каждая клетка тела превратилась в антенну, настроенную на одну волну: он здесь. За дверью. В темноте. И между нами - дерево, замок, и расстояние, которое можно пройти за одну секунду.

Тишина. Его дыхание - или мне казалось? Или это было мое собственное, отраженное от двери? Я не знала. Знала только, что лежу в его постели, в его запахе, с мокрыми от слез щеками и горящим от стыда телом, и он - за стеной, и он, может быть, слышит, как колотится мое сердце, потому что оно колотилось так громко, что, казалось, стены вибрируют.

Он ушел.

Шаги - прочь. По коридору. Его дверь - открылась. Закрылась.

Я выдохнула. И поняла, что дрожу.

Не от холода, не от страха. От того, что в ту секунду - когда его шаги замерли за моей дверью - я не хотела, чтобы он уходил. Не «боялась, что войдет» - ждала. Каждой клеткой, каждым нервом, каждым мокрым сантиметром кожи -

ждала, затаив дыхание, с колотящимся сердцем и влажными бедрами.

И когда шаги удалились - внутри не обрадовалось. Обмякло. Как парус без ветра.

Я перевернулась на бок. Подтянула колени к груди. Сжала мамино кольцо в кулаке.

Мама. Мамочка. Если бы ты знала. Если бы видела.

Ты бы не осудила. Ты бы обняла, и заплакала, и сказала: «Моя девочка». И от этих слов - воображаемых, несуществующих - я свернулась калачиком и закрыла глаза.

Сон - тяжелый, без сновидений. И где-то в этой темноте - теплые половицы, запах чужого мужчины на подушке, и шаги, которые остановились у двери и ушли.

Глава 8

«Самые опасные люди - не те, кто кричит. Не те, кто бьет. Самые опасные - те, кто молчит. Потому что тишина - территория, на которую невозможно вторгнуться».

Я не спал.

Всю ночь - на кровати, как вскрытый конверт. Рыжий храпел на подушке. А я таращился в потолок и слушал дом, и дом был другим, - населенным, наполненным ее дыханием, ее теплом, ее присутствием, которое просачивалось сквозь стены, как радиация: невидимо, бесшумно, смертельно.

Я слышал, как она ворочалась. В четыре. В пять. В шесть. Скрип кровати, шорох одеяла, - и от каждого звука мое тело дергалось, как марионетка на нитках: скрип - пульс вверх; шепот ткани - дыхание сбоило; тишина - напряжение в паху, тугое, бессовестное, которое я не мог снять, потому что дрожить на звук чужого ворочания за стеной - это уровень дна, до которого даже я не готов был опуститься.

Хотя - был.

Встал в шесть. Ледяной душ. Оделся. Спустился. Завтрак - яйца, тосты, кофе. На двоих. Вторая тарелка - ее, и от этой тарелки вся кухня менялась.

Восемь двенадцать. Шаги на лестнице.

Я стоял у стойки с кофе. Не обернулся. Слушал: шаг - пауза - шаг. Как сапер на минном поле.

Она вошла.

Я обернулся.

И - мать его - чуть не выронил чашку.

Бледная. Прозрачная. С фиолетовыми тенями под глазами. Волосы - мокрые после душа, собранные в тугий хвост, и с хвоста капала вода - на шею, на ключицу, скатываясь по коже тонкой дорожкой, исчезая за воротом футболки, - и я проследил эту каплю, от виска до ключицы и ниже, в тот темный треугольник между воротом и кожей, куда она нырнула, - и сжал чашку так, что фарфор скрипнул.

Она мылась моим мылом. Я чувствовал: мой запах - на ней. Тот же лавр, тот же кедр, тот же мускус, - но на ней он звучал иначе, как одна и та же мелодия, сыгранная на другом инструменте: на мне - виолончель, грубая, низкая; на ней - скрипка, высокая, тонкая, от которой ныли зубы. Мой запах на ее коже - самое интимное, что я испытывал за последние десять лет, и мы даже не прикасались друг к другу.

Спина - прямая. Подбородок - вздернут. Она стояла в дверном проеме - одна нога на ступеньке, другая на кухне. Не войти и не уйти.

— Я не буду делать вид, что это нормально, - сказала она.

— Никто не просит, - ответил я. - Садись. Ешь.

— Я не голодна.

— Камилова.

Фамилия - как хлыст. Намеренно. «Камилова», не «Вера», потому что «Вера» в моем исполнении звучала бы как стон,

и я это знал, и она бы это услышала, и от этого - все рухнуло бы.

— Камилова. Ты худая, как бродячая кошка, и это меня раздражает. Гемоглобин - сто два, давление - девяносто на шестьдесят, дефицит железа. Ты можешь ненавидеть меня - это твое право. Но ненавидеть на голодный желудок - непродуктивно. Садись.

Тишина. Ее лицо - ярость, оскорбление, удивление, и - мелькнувшее темное веселье в зрачках.

— Вы изучили мою медицинскую карту.

— Включая школьный аттестат. Тройка по физкультуре - серьезно?

Ее губы дрогнули. Вверх. На секунду. Почти-улыбка. И от этой почти-улыбки - от одного мимолетного движения ее обветренных, треснувших, ненакрашенных губ - у меня перехватило дыхание. Буквально. Легкие забыли, как работать. На полсекунды мир стал беззвучным, и в этой беззвучности было только ее лицо, и ее губы, и призрак улыбки на них, - и я понял, что готов на все, на любое преступление, на любое безумие, лишь бы увидеть эту улыбку целиком, развернутую, полную, - увидеть, как она смеется, как ее щеки округляются, как морщинки собираются у глаз, как зубы обнажаются, белые, ровные, с той самой щербинкой, которую я заметил вчера и которая снилась мне всю ночь.

Она прошла мимо - сорок сантиметров, и в этих сантиметрах уместился запах моего мыла на ее коже, и тепло ее

тела после душа, и родинка за правым ухом, маленькая, темная, о которой не было в досье, - и эта родинка взорвалась в моем сознании, потому что она была моя: не из файла, не из фотографии, не из системы, - я обнаружил ее сам, своими глазами, и это открытие было интимнее любого секса, потому что секс - обмен телами, а родинка - обмен тайнами.

Она села. На табурет. У стойки. Не за стол. Взяла тост. Откусила. Жевала, глядя в стену.

Не из моей тарелки. Голый тост, без масла, без сыра. В стену. Молча.

Подчинение, превращенное в неповиновение. Каждый укус - пощечина.

— Яйца остынут, - сказал я.

— Я не ем яйца.

— С каких пор?

— С сегодняшнего утра.

И от этого «с сегодняшнего утра» - спокойного, безмятежного, произнесенного тем тоном, каким сообщают о смене оператора, - меня накрыло не яростью, не раздражением - восхищением. Грязным, больным, перекрученным, от которого кровь прилиwała к лицу и не только к лицу, потому что эта женщина - худая, голодная, без денег и без выхода - сидела в моем доме и вела со мной войну сухим тостом и взглядом в стену, и эта война заводила меня сильнее, чем любое декольте, любой стриптиз, любая постановочная покорность, которой меня потчевали женщины двадцать лет.

Она доела. Встала. Подошла к раковине. Вымыла руки - тщательно, каждый палец, подушечки, ногти. Вытерла бумажным полотенцем - не тканевым. Она смывала меня. Мою еду, мое касание через пищу, мою заботу. Каждое движение ее пальцев под водой было - отторжением, и это отторжение, вместо того чтобы оттолкнуть, притягивало с чудовищной, непристойной силой, потому что я хотел - яростно, утробно, до черноты перед глазами - чтобы она вымыла руки после меня. Не после моей еды - после меня. После моих рук на ее теле. После моих пальцев на ее коже. После того, как я прикоснусь к ней по-настоящему - не визиткой, не воздухом, не взглядом, - а кожей, ладонями, всем телом.

— Я буду в комнате, - сказала она. Обернулась в дверях. Посмотрела - прямо, в глаза.

И в этом взгляде - огонь. Тихий, низкий, подземный. И я смотрел в этот огонь, и огонь смотрел в меня, и между нами было три метра кухни, и кофейный пар, и утренний свет, и ни одного прикосновения, - и от этого отсутствия прикосновения, от этой пустоты между нашими телами, от этого зазора, который звенел, как натянутая до предела струна, - хотелось выть. По-волчьи. В голос. Стоя посреди собственной кухни.

— Камилова.

Она остановилась. Не обернулась.

— Документы по делу Тимура будут завтра. В библиотеке, на столе у окна.

Пауза. Плечи дрогнули. Шея напряглась. И - по этой шее,

по тонкой коже за ухом, где пряталась родинка, - прошла волна, видимая, живая, как пульс, как ток, как вздох, который она сдержала, но не смогла спрятать.

— Хорошо, - сказала она. И ушла.

Я остался. С двумя тарелками. С остывшим кофе. С яйцами, которых она не ест «с сегодняшнего утра». С Рыжим, который спрыгнул со стула и потрусил за ней - предатель, мохнатая сволочь, - выбрал ее, как выбирают солнечное пятно на полу: безотчетно, безоговорочно, всем телом.

Я сел. Взял вилку. Ел. Не чувствуя вкуса. Потому что единственный вкус, который стоял на языке, - тот, которого еще не было, но который я представлял с параноидальной детализацией: вкус ее кожи, ее пота, ее слез, ее рта, - и от этих воображаемых вкусов настоящая еда была пресной, как бумага.

Война. Она хотела войну - получит.

Только я больше не знал, кто проиграет.

Потому что она мыла руки после моего хлеба - а я хотел, чтобы мыла после моего тела.

И от этого «хотел» - тошнотворного, нутряного, жгущего, как кислота, - весь мой мир, вся моя система, все мои двадцать лет контроля - становились тем, чем были всегда.

Пустотой.

В которой жила она.

Глава 9

«В детстве я верила, что если закрыть глаза и досчитать до десяти, мир изменится. Откроешь - а комната другая, и потолок не течет, и мама жива. Я считала до десяти. Открывала. Мир не менялся. Но я продолжала считать».

Он уехал после завтрака - черная машина за ворота, ворота закрылись. И дом, пропитанный его присутствием, вдруг обмяк, как тело, из которого вынули скелет, - стены остались, и потолок, и пол, но напряжение ушло, то электрическое, гудящее, от которого каждый волосок на коже стоял дыбом, пока он был рядом, - и я впервые за сутки вдохнула полной грудью, и воздух был просто воздухом, и тишина была просто тишиной, и можно было не сжимать бедра, и не отводить глаза, и не считать сантиметры между его телом и моим.

Можно было - быть.

Одна. В его доме. С охранником у ворот и Зинаидой Павловой, которая пришла убирать и посмотрела на меня, как на мебель. Хорошо. Мебель - не угроза. Мебель - анонимна.

Я начала с первого этажа. Изучала - не дом, а его. Потому что дом - это продолжение человека, его скелет, вывернутый наружу, и по стенам, по мебели, по запахам можно прочесть хозяина точнее, чем по лицу.

Гостиная - при дневном свете строгая, голая. Ни фотографий, ни картин. Стены - чистые. Как его взгляд. Как его мас-

ка. Ничего личного, ничего, за что можно зацепиться, - будто он вычистил пространство от себя, оставив только функцию: кресло - сидеть, камин - греться, ковер - ступать. Доминструмент. Дом без души.

Но - кухня. На крючке у плиты - фартук. Темный, льняной, с пятном от масла на бедре. Я сняла его, поднесла к лицу - и его запах обрушился на меня, как лавина: одеколон, кофе, что-то мускусное, теплое, его кожа, его пот, - все впитавшееся в ткань, как в губку, и я стояла посреди кухни с его фартуком у лица и дышала, дышала, дышала, глубоко, жадно, как утопающая, которая наконец вынырнула, и легкие горели, и голова кружилась, и между ног стало горячо и влажно от одного запаха, от чертовой тряпки, пропитанной им, и я ненавидела себя с такой остервенелой, концентрированной яростью, что швырнула фартук обратно на крючок и отступила, как от огня.

Больная. Чокнутая. Ненормальная.

Руки дрожали. Я вымыла их - холодной водой, до красноты, до онемения, - смывая его запах, его присутствие, свое желание, - и стояла у раковины, и капли стекали с локтей, и в окне отражалось мое лицо: бледное, с горящими щеками и зрачками, расширенными так, будто я была под кайфом. Под кайфом от фартука. Господи.

Лестница. Второй этаж. Коридор. Его дверь - дальняя, левая. Я прошла мимо. Не остановилась. Не позволила.

Но - запомнила. Расстояние от моей двери до его: один-

надцать шагов. Я посчитала. Ночью, в темноте, одиннадцать шагов - это двенадцать секунд. Двенадцать секунд, отделяющих меня от его двери. От его комнаты. От его кровати. От - нет. Нет. Хватит. Тимур. Думай о Тимуре.

Библиотека.

Вчера я видела ее мельком. Сегодня - стояла на пороге и не могла заставить себя войти.

Полки - от пола до потолка. Четыре стены сплошных книг. И воздух - мамин. Тот самый запах бумаги, типографской краски, теплой пыли, который жил в маминых волосах, маминой одежде, маминых объятиях. Мама работала в библиотеке, и этот запах означал - дом, безопасность, любовь. Все, чего больше не было.

Я вошла. Провела пальцами по корешкам - медленно, как слепая читает Брайль. Достоевский. Набоков. Маркес. Бродский с автографом. Библиотека - живая, читанная, с загнутыми страницами и обтертыми углами. Библиотека человека, который по-настоящему, на износ, - читал.

И каждый том нес отпечаток его рук - тех самых рук, от прикосновения которых через визитку у меня остановилось сердце. Его пальцы касались этих страниц - переворачивали, проводили по строчкам, загибали углы, - и теперь мои пальцы ложились поверх его отпечатков, как ладонь ложится поверх ладони, и от этого наложения - моя кожа на его следах, - по руке прокатывалась волна, теплая, тягучая, как расплавленный мед, и добиралась до груди, до живота, до того места,

которое не переставало гореть с вчерашнего вечера.

Нижняя полка. Слева. Маленькая книга - Чехов. «Рассказы». Затертая до тряпки.

Я достала. Открыла.

Пометки. На полях - карандашом, мелким почерком, острые «к» и «р», но - другие. Моложе. Круглее. Детский почерк, переходящий в подростковый.

«Тоска». О старом извозчике Ионе, которому некому рассказать о смерти сына. На полях:

«Я понимаю Иону. Мне тоже некому. Но у меня нет лошади».

Я опустила на пол. С книгой в руках. И перечитывала эту строчку, и каждое слово входило в меня, как игла: мальчик, который это написал, был одинок. Ребенок, которому некому рассказать о боли. И этот ребенок вырос в мужчину, который готовил мне ужин, проверял полотенца на мягкость, и смотрел на мой рот, когда я ела, с голодом, от которого плавилась стены.

Перевернула страницу. «Палата №6»:

«Если мир - палата, то кто из нас больной? Тот, кто внутри, или тот, кто запер дверь?»

И ниже - другим почерком, взрослым:

«Оба».

Два возраста. Два ответа. Тридцать лет между ними. И я сидела на полу, с этой книгой, и понимала то, чего не хотела понимать: он не родился чудовищем. Его сделали. Кто-то -

отец? - взял мальчика с Чеховым и превратил в человека, запирающего двери. И теперь этот человек запер мою дверь, и я ненавидела его за это, и жалела его за это, и хотела его за это - и «хотела» было самым страшным из трех, потому что ненависть и жалость можно контролировать, а желание - нельзя, оно живет в теле, в крови, в тех глубинных слоях, куда разум не дотягивается, и оно горело, горело, горело - от его книг, от его пометок, от его детского почерка, от его взрослого одиночества, от фартука с пятном масла на бедре.

Мягкий звук. Шорох. Кот.

Рыжий, крупный, с разодранным ухом и наглыми желтыми глазами. Вошел по-хозяйски. Остановился в метре. Изучал - серьезно, обстоятельно.

Подошел. Ткнулся лбом в колено - коротко, требовательно: гладь. Я опустила руку. Шерсть - густая, с электрическим потрескиванием. Он заурчал - всем телом, и вибрация прошла через ладонь, через руку, в грудную клетку, в тот узел, где все болело, - и узел ослабился. На волосок. Достаточно, чтобы вдохнуть.

Кот запрыгнул на колени. Тяжелый, теплый. Улегся, засунув нос под хвост. И я сидела на полу, с котом на коленях и Чеховым у сердца, и плакала - в рыжую шерсть, беззвучно, сухо, всем телом.

За окном пошел снег. Густой, медленный, тихий.

Я поставила Чехова обратно. Провела пальцем по корешку - прощаясь.

И знала, что вернусь. Не ради книг - хотя и ради книг тоже. Ради его пометок на полях. Ради мальчика, которому некому рассказать. Ради единственного, что в этом доме было настоящим, - не одеяла и не теплые полы, а эти корявые строчки, написанные карандашом тридцать лет назад, в которых он был - голый, уязвимый, без маски, без системы, без серых глаз, в которых ничего не читалось.

В строчках - читалось все.

И это было опаснее его рук, его голоса, его запаха. Потому что от рук можно отстраниться, от голоса - зажать уши, от запаха - отвернуться. Но от понимания - нечем защититься. Оно проникает туда, куда не проникает ничто: в сердцевину, в мякоть, в то место, где живет способность любить.

Кот спрыгнул. Потянулся. Ушел, задрал хвост.

Я встала. Вытерла лицо. Пошла в комнату. Легла.

И в голове, как заевшая пластинка:

«Мне тоже некому. Но у меня нет лошади».

И я не знала, кого мне жальче. И не знала - что опаснее: жалость, ненависть или то третье, горящее, от которого сводило бедра и мокли ресницы одновременно.

Глава 10

«Контроль - религия для тех, кто разучился верить. Ты не молишься - ты проверяешь. Не надеешься - планируешь. Не любишь - наблюдаешь. И пока наблюдаешь - ты в безопасности. Потому что тот, кто смотрит, - не может быть ранен».

Камеры.

Двенадцать объективов. В каждой комнате, кроме двух: ее спальня и ванная. У меня были правила - не про мораль, а про эстетику. Подсматривать за раздевающейся женщиной через камеру - вульгарно.

Но камера номер семь - кухня - показала мне нечто, от чего правила и эстетика полетели к чертовой матери.

Девять сорок три. Она стояла у плиты. Сняла с крючка фартук - мой фартук, темный, льняной, с пятном масла, - и поднесла к лицу. И вдохнула. Глубоко, запрокинув голову, прикрыв глаза, с тем выражением, которое бывает у людей, нюхающих цветы, или вино, или кожу любовника после секса, - блаженным, отрешенным, голодным.

Она нюхала мой фартук.

У меня подкосились ноги. Буквально - я сидел за столом в городской квартире, перед тремя мониторами, а колени стали ватными, как будто я стоял и мне подсекли, - и я вцепился в подлокотники кресла и смотрел, как она дышит в мою ткань, моим запахом, с закрытыми глазами и запрокинутой

шеей, обнажившей горло, - и это горло, тонкое, бледное, с пульсирующей жилкой, было самым эротичным, что я видел в своей жизни. Не стриптиз, не обнаженное тело, не постановочная порнография - горло. Ее горло, открытое, незащищенное, с бьющимся пульсом, в момент, когда она думала, что никто не видит.

Кровь ударила в пах - жестко, мгновенно, как выстрел. Стояк - болезненный, тугой, выламывающий швы на джинсах, - и я стиснул зубы, и смотрел, как она стоит с фартуком у лица, и дышит, дышит, дышит мной, - и понимал: она хочет меня. Не только я - она. Не осознанно, не радостно, не добровольно - но хочет. Ее тело выдавало с потрохами: запрокинутая голова, прикрытые глаза, грудь, поднимающаяся и опускающаяся быстрее обычного, - все кричало о том, что она, моя пленница, моя заключенная, девочка, которую я заточил в загородном доме, - нюхает мой фартук и течет от этого, как я тек от ее позвонков сквозь футболку.

Она швырнула фартук обратно. Отступила. Вымыла руки - холодной водой, долго, яростно, до красноты. Смывала. Как вчера после хлеба - только теперь смывала не мой хлеб, а свое желание, и от этого жеста - от ее мокрых, покрасневших рук, от яростного трения пальцев под струей воды - меня выкрутило так, что я застонал вслух, в пустой квартире, как подросток, как идиот, и звук собственного стога привел меня в чувство - частично, на секунду, достаточно, чтобы убрать руку от ширилки, куда она скользнула произволь-

но.

Переключился. Камера три - коридор. Она шла по второму этажу. Прошла мимо моей двери.

Не остановилась.

И это - снова, опять, - задело. Хотя я только что видел, как она нюхала мой фартук. Хотя я знал, что она хочет. Но знание - одно, а действие - другое, и она прошла мимо моей двери, не замедлив шага, - и это молчаливое «не замедлив» было ответом на мое молчаливое «хочу»: я тоже хочу, но не подойду, не остановлюсь, не покажу, потому что ты - мой тюремщик, а я - не шлюха, и между моим желанием и твоей дверью - моя гордость, и она крепче твоих замков.

Камера номер девять - библиотека.

Она вошла. Замерла на пороге - семь секунд, я посчитал. Потом - к полкам. Пальцы по корешкам. Медленно, как ласка, как поглаживание, - и от вида ее пальцев на моих книгах у меня снова потемнело, потому что она касалась моих книг так, как я хотел, чтобы она касалась меня: медленно, нежно, с благоговением, - и каждый корешок под ее пальцами был нервным окончанием, и я чувствовал ее прикосновения сквозь камеру, сквозь провода, сквозь сорок километров.

Нижняя полка. Слева.

Чехов.

Мой Чехов.

Я выпрямился. Ладони вспотели. Она достала книгу. Открыла. Начала читать.

Из четырех тысяч книг - нашла ту. Единственную, которую я привез из отцовского дома. С моими детскими пометками. С моим мальчиком на полях.

Я смотрел, как она читает. Как ее губы шевелятся - беззвучно, проговаривая слова. Как ее лицо меняется - от любопытства к удивлению, от удивления - к чему-то, для чего на экране не хватало пикселей, но что я чувствовал, как чувствуют подземные толчки на другом континенте: не видишь, но знаешь - земля сдвинулась.

Она опустила на пол. Прижала книгу к груди. Закрыла глаза.

И я понял: она прочитала. «Мне тоже некому. Но у меня нет лошади». Она прочитала - и поняла. И в ее закрытых глазах, в ее прижатой к груди книге, в ее скрючившемся на полу теле - было то, от чего мой бетон трескался: не жалость (жалость я пережил бы), не сочувствие (сочувствие можно отбросить) - узнавание. Она узнала мальчика, потому что была таким же мальчиком: одиноким, голодным, с книгой вместо лошади.

Рыжий. Пришел. Ткнулся в ее колено. Заурчал.

Предатель. Семь лет шипел на каждого - и к ней пришел сам.

Она плакала ему в шерсть. Я видел - без звука, через камеру, через зернистость и помехи: трясущиеся плечи, рука в рыжем мехе, книга у сердца. И от этой картинки - от ее слез в шерсть моего кота, от Чехова у ее груди, от снега за окном

- я наконец сделал то, что запрещал себе тридцать лет.

Я встал. Отошел к окну. Положил лоб на холодное стекло. Закрыв глаза.

И - не заплакал. Ковачи не плачут. Но что-то влажное, горячее, соленое - скатилось по щеке, одна капля, единственная, которую я не смог удержать, как не смог удержать стон полчаса назад, - и я вытер ее тыльной стороной ладони, и открыл глаза, и город за стеклом был серым и мокрым, и мне от него не нужно было ничего.

Потому что все - все, чего я хотел: ее тело, ее голос, ее слезы, ее запрокинутую шею, ее пальцы на моих книгах, ее «седьмой», ее тост без масла, ее ненависть и ее желание, которое она прятала яростнее, чем я прятал свое, - все это находилось в сорока минутах по объездной, в доме, который я построил как ловушку, а который стал - мне самому не верилось - домом. Впервые. Потому что в нем жила она.

Я вернулся к монитору. Она уже не плакала. Читала Пастернака, привалившись к полке. Рыжий дремал на ее бедре, положив башку ей на колено, и от этой картинке - от рыжего меха на ее джинсах, от ее руки, рассеянно чешущей его за больным ухом, - я почувствовал то, что не чувствовал никогда, ни разу за сорок лет: зависть. Не к человеку - к коту. К шестикилограммовому рыжему засранцу, который лежал на ее коленях, и ему было тепло, и его гладили, и он урчал, и ему было наплевать на замки и условия, и на двенадцать лет, и на серую мораль, - ему было наплевать на все, кроме

ее руки на его ухе.

Я хотел быть этим котом. Конкретно, буквально, физически - хотел лежать башкой на ее бедре, и чувствовать ее пальцы на своей голове, и урчать, и быть прощенным не за что-то - а просто так, безусловно, как прощают котов: за то, что есть.

Телефон. Артур.

— Документы по Камилову. Первый пакет. Отвези в загородный дом. На стол в библиотеке.

— Сегодня?

— Сейчас. И, Артур - купи кошачьи витамины. У Рыжего ухо чешется.

Пауза. Долгая. Артуровская.

— Будет сделано.

Я положил трубку. Посмотрел на экран - она читала, кот спал, снег шел.

И между мной и этой картинкой - сорок минут по объездной, двенадцать камер, одна капля на щеке и целая жизнь, которую я прожил неправильно.

Но - жил. Впервые - не функционировал, не контролировал, не выстраивал. Жил.

Больно. Тесно. Невыносимо.

Но - живой.

Глава 11

«Привычка - самый тихий яд. Его не чувствуешь. Он не горчит, не жжет, не обжигает. Он просто - входит. Каплями. Каждый день. И однажды ты просыпаешься, и понимаешь: ты отравлена. И противоядие - то же самое, что тебя отравило».

Неделя.

Семь дней, которые упали на дно моей жизни, как камни в колодец, - один за другим, глухо, тяжело, без эха, - и я считала их, как заключенная считает зарубки на стене: не от скуки, а от необходимости помнить, что время идет, что я здесь не навсегда, что это - временно, временно, - хотя слово «временно» с каждым днем истончалось, как ткань, которую стирают слишком часто, и сквозь него уже просвечивало другое слово, страшное, невозможное, непроницаемое: привычка.

Он установил правила в первое же утро - не приказом, не списком, не документом с подписью, а так, как устанавливают гравитацию: молча, неотменимо, фактом своего существования.

Завтрак - вместе. Каждый день, в восемь утра, на кухне. Он готовил - всегда сам, никогда не поручая Зинаиде Павловне, и в этом «сам» была не забота, а территория: кухня - его, еда - его, огонь под сковородой - его, и я, сидящая за

стойкой (я так и не села за стол, и он не настаивал - молчаливое перемирие, маленькая автономия, которую он мне оставил, как оставляют воздушную подушку в камере), - я тоже была его. На время завтрака. На двадцать минут каждое утро.

Ужин - вместе. В семь вечера. Он возвращался из города - иногда раньше, иногда позже, но в семь всегда был на кухне, с засученными рукавами, с ножом в руках, с тем сосредоточенным выражением лица, которое бывает у людей, занимающихся единственным делом, приносящим покой. Я спускалась. Сиделась. Ела. Молчала. Или не молчала - к четвертому дню молчание стало невыносимым для нас обоих, и мы начали разговаривать, сначала - о еде (он спрашивал, что я ем, а что нет, и я отвечала коротко, и он запоминал, и на следующий день на столе не было того, что я не ела, - и от этого запоминания, от этой педантичной, маниакальной внимательности к моим предпочтениям меня прошибало ознобом), потом - о книгах (он спросил, что я читаю, и я сказала «Пастернак», и он кивнул, и по его лицу прошла тень - быстрая, неуловимая, как облако по солнцу, - и я поняла: он знает, что я была в библиотеке, и знает, что я нашла, и это знание висело между нами, произнесенное, как запах пороха после выстрела).

Днем - свободно. В пределах дома и сада - забор три метра, камеры, Жора у ворот. Я могла читать (библиотека - каждый день, по несколько часов, жадно, ненасытно, с тем голодом,

который не утоляется, а разрастается с каждой прочитанной страницей). Могла гулять - по саду, между берез, увязая в снегу, дыша ледяным воздухом, который пах свободой и ложью, потому что воздух за забором был таким же, но этот - ограниченный, отмеренный метрами периметра, - и каждый вдох напоминал: ты в клетке, даже если клетка красива.

Звонки - Тимуру и Лизе. По его телефону. Он слушал - я знала. Лизе говорила: «Работа, загородный дом, помощница по хозяйству». Лиза не верила. Лиза говорила: «Вер, ты бредишь, какая помощница, что за хуйня». Я отвечала: «Все нормально, Лиз, правда». И ненавидела это слово - «нормально», - Тимурово слово, слово-щит, слово-ложь, которое теперь стало моим.

Интернета - нет. Телевизора - нет. Радио - нет. Мир за забором перестал существовать - не сразу, не в один день, а постепенно, как тает лед на стекле: сначала ты видишь контуры, потом - размытые пятна, потом - ничего, только теплое стекло и твое отражение в нем. Мир стал - он. Его дом, его кухня, его библиотека, его кот, его голос, его руки, его запах - целая вселенная, сжавшаяся до размеров загородного участка, и в центре этой вселенной - он, как звезда, вокруг которой вращается все, включая меня.

Я подчинялась. Внешне - безупречно. Выходила к завтраку. Садилась. Ела - больше, чем тост: к третьему дню начала брать яйца (он не прокомментировал, но я заметила, как угол его рта дрогнул - вверх, на миллиметр, - и от этого мил-

лиметра у меня загорелись уши). Спускалась к ужину. Говорила «спасибо». Уходила к себе.

Но внутри - я вела войну.

Считала дни. Запоминала расписание: когда он уезжает (восемь тридцать), когда возвращается (шесть - шесть тридцать), когда Жора сменяется (одиннадцать вечера, и ночной охранник - Степа - пьет, я слышала звон бутылки из сторожки). Замечала камеры - двенадцать штук, я нашла одиннадцать, двенадцатую искала. Изучала забор - три метра, бетон, гладкий, но у задней стены сада - старая яблоня, ветка перегибается через верх, и если встать на нижнюю развилку...

Не сейчас. Не пока дело Тимура - в процессе. Не пока документы приходят каждые три дня - аккуратные папки на столе в библиотеке, с закладками, с пометками (его рукой - и от каждой пометки, от каждой острой «к» и «р» на полях юридического документа, внутри что-то сжималось, потому что его почерк стал мне знакомым, как собственный пульс, и я узнавала его буквы на расстоянии, и от узнавания - нило, тянуло, саднило).

Не сейчас.

Но я была готова. Тихий, умный противник, ведущий разведку на вражеской территории. Он думал, что дрессирует меня - я чувствовала это в его взгляде, в том, как он наблюдал за мной за ужином, с тем клиническим вниманием, с каким энтомолог наблюдает за насекомым в банке. Он ждал, что я сломаюсь. Привыкну. Размякну.

И вот в чем был ужас - в чем был настоящий, подлинный, до тошноты ужас: я привыкала.

Не к дому, не к еде, не к теплу - к нему. К его присутствию. К звуку его шагов на лестнице в шесть вечера - и к тому, как мое тело реагировало на этот звук каждый раз: пульс вверх, дыхание чаще, кожа на предплечьях покрывалась мурашками, и внизу живота разливалось тепло, вязкое, медовое, от которого хотелось сжать бедра и не разжимать.

К его рукам на кухне. К тому, как он нарезал овощи - быстро, точно, с тем ритмом, который завораживал, как завораживает метроном: тук-тук-тук, нож по доске, и его запястья двигались, и вены проступали, и предплечья напрягались, и мне приходилось отворачиваться, потому что если бы я смотрела дольше тридцати секунд - я бы забыла, зачем спустилась.

К его голосу. Он стал разговаривать больше - к пятому дню, к шестому, - не о личном, нет, о работе (отфильтрованной, я понимала), о городе, о музыке (он слушал джаз - виниловые пластинки в гостиной, и однажды вечером, спускаясь к ужину, я услышала Чета Бейкера, и его голос - не Бейкера, его, - напевал мелодию, тихо, себе под нос, и я замерла на лестнице, и стояла, и слушала, и у меня подкосились ноги, потому что он пел, этот человек, который контролировал город и держал меня взаперти, - он пел на кухне, фальшиво, еле слышно, и в этом пении была такая обнаженность, такая неприкрытая человечность, что я прижала ладонь к стене и

дышала через рот, чтобы не выдать себя стоном).

К его запаху. Он был везде - в коридоре, на кухне, на полках библиотеки, в ванной (мы пользовались одной, и каждое утро, входя после него, я вдыхала пар, пропитанный его мылом, его кожей, и у меня кружилась голова, и стены плыли, и ноги разъезжались на мокром кафеле). Его запах стал частью дома - неотъемлемой, как деревянные балки и каменная кладка, - и мой организм привык к нему, как привыкают к наркотику: сначала - доза обжигает, потом - дозы не хватает, и ты ищешь, принохиваешься, тянешь ноздрями воздух, как собака, потерявшая след.

К Рыжему. Кот стал моим - не по праву, а по факту: он спал у моей двери (я слышала урчание из коридора), приходил в библиотеку каждый день, запрыгивал на колени, укладывался, и его тепло и вибрация стали единственным физическим контактом в моей жизни, единственным прикосновением, которое не было отравлено подтекстом и расчетом. Рыжий не хотел ничего - кроме руки на загривке. И я давала. И от этого давания - от возможности дарить ласку, а не только принимать условия, - что-то внутри не то чтобы оттаивало (оттаивать было нечему - все было выжжено), но - прорастало. Заново. Из пепла. Тонкими зелеными стеблями, хрупкими и безрассудными, как все, что растет там, где не должно.

И он это видел. Я знала - видел. По камерам, по взглядам за ужином, по тому, как его серые глаза задерживались на

моих руках, когда я гладила кота, - на моих пальцах, перебирающих рыжую шерсть, - и в его взгляде было что-то, от чего воздух густел и дышать становилось трудно: не злость, не ревность, а - тоска. Физическая, осязаемая, как жар от камина. Он смотрел на мои руки в кошачьей шерсти и тосковал - по чему? По моему прикосновению? По тому, чтобы мои пальцы так же - нежно, бездумно, автоматически - прошлись по его голове, по его виску, по его седине?

Седьмой день. Ужин. Он приготовил рыбу - запеченную, с лимоном и травами, и запах заполнил кухню, и я спустилась, и села на свой табурет (мой - мой табурет, привычка, территория, маленький остров суверенитета), и он поставил тарелку, и наши пальцы - снова, опять, в третий раз за неделю - оказались в сантиметре друг от друга, и воздух в этом сантиметре полыхнул, как порох.

Я отдернула руку. Он - нет. Его пальцы остались на краю тарелки - длинные, сухие, с аккуратным ногтем на указательном, - и он смотрел на меня, и я смотрела на его пальцы, и между нами был сантиметр горячего воздуха, и секунда, и тишина, и все то, что мы не произносили семь дней, висело в этом сантиметре, как заряженная граната, и чека была - одно движение, один миллиметр, одно касание кожи о кожу.

Он убрал руку. Сел напротив. Скрестил приборы.

— Ты стала есть яйца, - сказал он. Ровно. Будто говорил о погоде.

— С четвертого дня, - ответила я. - Пережила экзистен-

циальный кризис и примирилась.

Его губы дрогнули. Та самая почти-улыбка - кривая, короткая, болезненная. И - впервые - он рассмеялся. Не засмеялся - рассмеялся: коротко, хрипло, как человек, который забыл, как это делается, и вспоминает мышцами, и мышцы сопротивляются, и звук выходит сломанным, рваным, - но это был смех, его смех, и от него по моему телу прошла волна - от макушки до пяток, горячая, вибрирующая, живая, как от прикосновения оголенного провода, - и я вцепилась в край стойки, чтобы не соскользнуть с табурета, потому что колени стали водой.

Его смех. Я заставила его смеяться. Я - тостом без масла, яйцами с четвертого дня, экзистенциальным кризисом - я, пленница, нищая, никто, - заставила этого человека смеяться, и его смех был - подарком, наградой, победой, и одновременно - капитуляцией, потому что в ту секунду, когда он смеялся, его маска упала, и я увидела под ней не прокурора, не хищника, не систему, - а мужчину, уставшего мужчину с морщинками у глаз и сединой на висках, который забыл, когда в последний раз смеялся, и вспомнил благодаря мне.

И это было опаснее всего. Опаснее его рук, его голоса, его запаха, его тепла, - его смех был тем ядом, от которого не существовало противоядия, потому что яд был - радостью, чистой, мгновенной, пронзительной, как первый луч солнца после недельного ненастья.

Рыжий запрыгнул на стойку. Ткнулся мордой в мою ла-

донь. Заурчал. И Марк - Марк, не «Ковач», не «прокурор», не «он», - Марк посмотрел на кота, потом на меня, потом - на мою руку в рыжей шерсти, и в его глазах было то, от чего у меня перестало биться сердце: голод. Не физический. Тактильный. Он смотрел на мою руку, глядящую кота, и хотел - я видела, читала, чувствовала каждой порой, - хотел, чтобы эта рука коснулась его.

Я убрала руку. Встала.

— Спасибо за ужин.

— Камилова.

Я остановилась.

— Завтра - суббота. Я буду дома весь день. Если хочешь - можем... - он запнулся. Марк Ковач запнулся. Впервые за семь дней - слово застряло на его языке, как кость в горле, и он сглотнул, и его кадык дрогнул, и я смотрела на этот дрожащий кадык и не могла отвести глаз, потому что это движение - произвольное, нервное, человеческое - было интимнее любого раздевания. - Если хочешь - можем почитать. Вместе. В библиотеке. Я давно не... - еще одна запинка. Еще один кадык. - Давно.

Он предлагал мне чтение. Совместное чтение в библиотеке. И это предложение, невинное, почти детское, было заряжено таким напряжением, что стены кухни гудели.

— Хорошо, - сказала я. И ушла.

Поднималась по лестнице - одиннадцать шагов до моей двери, и на каждом шагу думала: хорошо. Я сказала хорошо.

Не «нет». Не «оставьте меня в покое». Не «я здесь не по своей воле, и ваше предложение почитать вместе - очередная манипуляция, и мы оба это знаем».

Хорошо.

Потому что я хотела. Не чтения - его. Его присутствия в библиотеке, рядом, на расстоянии вытянутой руки, в кресле напротив, с книгой на коленях, с этими пальцами, перелистывающими страницы, с этим профилем, освещенным лампой, с этой сединой, и морщинками, и кадыком, и смехом, и запахом, и всем тем, что составляло его - Марка, не Ковача, не прокурора, а Марка, - человека, который написал в двенадцать лет «у меня нет лошади» и который сегодня засмеялся от моей шутки про яйца.

Я закрыла дверь. Легла. Рыжий заскребся снаружи - впустила, он запрыгнул на кровать, свернулся у моих ног.

Лежала в темноте. Считала дни - семь. Считала шаги - одиннадцать. Считала сантиметры - один, тот самый, между его пальцами и моими на краю тарелки.

Один сантиметр.

И вся моя война - все мои камеры и заборы, все мои счетчики и планы побега, вся моя ненависть и вся моя гордость - умещались в этом сантиметре и весили меньше, чем его смех.

Привычка - самый тихий яд.

Я была отравлена.

И противоядие - было тем же самым, что меня отравило.

Глава 12

«Мой отец бил молча. Никогда - с криком, никогда - с бранью. Молча. Подходил, бил, уходил. И я понял: настоящая власть не шумит. Она входит тихо. Делает что хочет. И уходит. А ты - остаешься. С синяком и пониманием, кто здесь хозяин».

Суббота. Библиотека. Она пришла в десять - в моем свитере, взятом с вешалки без разрешения, как будто этот дом - ее, как будто мои вещи - ее, как будто она имеет право совать свои тонкие руки в мой кашемир и носить его на своем тощем теле, обнажая плечо с родинками, о которых я не просил знать и которые теперь стояли перед глазами, как отпечатки пальцев на месте преступления.

Я не сказал ей снять.

Не потому что разрешил - потому что если бы открыл рот на тему свитера, из этого рта вышло бы не «сними», а «не снимай никогда», и это было бы - конец. Конец системе, конец контролю, конец всему, на чем стояла моя жизнь.

Она села в кресло. Поджала ноги. Открыла Булгакова. Читала - по-настоящему, переселяясь в текст, забывая обо мне, и от этого забывания меня перекашивало, потому что я привык, что люди помнят о моем присутствии постоянно, каждую секунду, каждой клеткой, - я привык быть центром гравитации в любом помещении, и когда какая-то девчонка с

незаконченным образованием и дефицитом железа забывала обо мне ради книги, - это было оскорблением, личным, физическим, бьющим по самолюбию с силой кувалды.

Она облизнула палец, чтобы перевернуть страницу. Язык - розовый, быстрый, мокрый - скользнул по подушечке. Я смотрел. Она не знала, что я смотрю - или знала и делала это нарочно, и я не мог определить, и от невозможности определить - от потери контроля над ситуацией, которую я обязан был контролировать, - внутри поднималось знакомое, привычное, отцовское: холодная, тяжелая ярость, та, которая не кричит, а действует.

Я встал.

— Хватит.

Она подняла голову. Глаза - карие, широкие, с тем выражением настороженности, которое я запомнил с первой фотографии в досье. Хорошо. Пусть настораживается. Пусть помнит, где она и у кого.

— Книгу - на полку. Идем.

— Куда?

— Я не повторяю, Камилова.

Я вышел из библиотеки, не оглядываясь. Слышал за спиной: шелест страниц (закрыла), шорох ткани (встала), мягкий стук книги о дерево (положила на стол, не на полку - маленький бунт, микроскопический, ничтожный, от которого мне хотелось обернуться и вбить ее в стену), - и шаги. За мной. По коридору. По лестнице вниз. На кухню.

Я указал на табурет.

— Сядь.

Она села. Молча. Прямая спина, руки на коленях. Солдат на построении - только в моем свитере, с голым плечом и мокрыми после душа волосами, от которых пахло моим мылом, моим шампунем, моим - всем моим, и она сидела в этом «моем», как в коконе, и не понимала (или понимала - что хуже), что каждая молекула моего запаха на ее коже - это акт собственности, это метка, это моча волка на территории, и территория - она.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.